

Лидия
БОГДАНОВИЧ

Записки
ПСИХИАТРА

МЕДИЗ · 1959 ·

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ЛИДИЯ БОГДАНОВИЧ

ЗАПИСКИ ПСИХИАТРА

*ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ
И ДОПОЛНЕННОЕ*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МЕДГИЗ — 1959 — МОСКВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Записки психиатра» Лидии Богданович — это попытка молодого советского врача дать критическую оценку первых и самых трудных лет своей врачебной работы.

Материалы представлены автором в живых художественных образах, но значение этой книги еще больше. Чистосердечно и скромно автор повествует о трудностях, с которыми сталкивается начинающий психиатр, о его неизбежных ошибках и их последствиях, о способах преодолеть затруднения, о путях, какими сам автор выходил из лабиринта не раз возникавших перед ним сложных житейских и медицинских коллизий. Автор много ошибался и мучился, много видел, пережил и продумал. Пытаясь найти причины всякого рода недоумений, встречающихся в практике врача-психиатра (особенно молодого), автор находит их в разных сферах — в условиях внешней среды, в общественной жизни, в приемах педагогических систем, в самой науке — и стремится помочь устранить их. Если нигде автор прямо не говорит о технике врачебного мастерства, то уделяет много внимания морали самого врачебного дела — тому, чего нет в учебниках и руководствах и что в действительности имеет не менее важное значение, чем точное знание самого предмета.

Наконец, все страницы книги проникнуты духом гуманности, сострадания, уважения и любви к больному человеку, стремлением восстановить не только его здоровье, но и положение в обществе, в котором по ряду нередко случайных причин он временно оказывается неполноценным.

Все это сделало книгу Л. А. Богданович исключительно интересной и нужной и потребовало дополнительного издания. Она, несомненно, и впредь будет полезной не только студенту-медику и молодому врачу, но и более широкому кругу советских читателей, интересующихся проблемами медицины в их теоретическом и практическом преломлении. В свете развития идей И. П. Павлова книга эта приобретает еще большее значение.

Академик А. Д. Сперанский

Книга Лидии Анатольевны Богданович «Записки психиатра» — первая за многие годы, посвященная большим и важным вопросам психогигиены, психопрофилактики с позиций социалистической общественной морали и гуманизма.

Для восстановления нарушенного психического равновесия необходимы и медикаменты, и специальные лечебные средства, как, например, ванны, души и другие физические методы лечения. Однако это еще не все. В любом лечебном воздействии очень большое значение имеет внушение, психотерапия в самом широком смысле этого слова.

Внимательное, ласковое обращение медицинского персонала, стремление вернуть человека к нормальной жизни в трудовом советском коллективе очень важны для выздоровления.

Есть два рода воздействия на настроение и поведение человека: можно обращаться к разуму и сознанию человека, а можно влиять на чувства и воображение его, для чего пользуются нередко и художественными образами. Это наиболее действенно.

«Записки психиатра» представлены в художественных рассказах и очерках и популярны в лучшем понимании этого слова. Ценным качеством книги является искренняя

убежденность автора, вера в человека, в его творческие, трудовые возможности, в победу над болезнью. Нелегко врачу-психиатру восстанавливать нарушенное здоровье человека, укреплять его веру в свои силы. Нужно преодолевать порой сопротивление окружающей среды, живучесть предрассудков, боязливость, настороженность и недоверие самого больного. В данном случае необходимо не только доброе, сердечное отношение к самому больному, но и активное вмешательство в его жизнь, в жизнь людей, соприкасающихся с ним.

Именно советский врач, воспитанный Коммунистической партией Советского Союза, и обладает высокой моральной силой, чтобы реально помочь больному. Советский врач не созерцатель, а активный друг и слуга страждущего. Высокая идейная направленность помогает врачу успешно бороться за место больного в трудовой жизни.

Вот почему не только среди читателей нашей страны, но и за рубежом «Записки психиатра» Л. А. Богданович имеют большой и заслуженный успех. За короткий период книга эта переведена на ряд языков. Это обстоятельство и вызвало необходимость переиздания книги.

Действительный член
Академии медицинских наук СССР
заслуженный деятель науки
профессор

В. А. Гиляровский

НА РАСПУТЬЕ

В психиатрическую больницу я в первый раз пришла с однокурсниками-студентами.

Обладая отличным здоровьем и веселым нравом, я не боялась ничего на свете. Уже был пройден четырехлетний путь обучения в медицинском институте. Много я видела, пережила, прочувствовала. Крики рожениц, кровь при операциях — все это уже не выводило меня из равновесия, как в первые дни. Работа в клинике, лекции, операции казались теперь обычными и необходимыми. Словом, все было хорошо до того дня, когда я с группой товарищей-студентов пришла в психиатрическую больницу.

В белых халатах мы вместе с профессором направились в «буйное» отделение, которое профессор называл «беспокойным». Щелкнул замок — такой, как в железнодорожных вагонах. Хлопнула массивная дверь. Мы, студенты, переглянулись с тревогой и волнением.

«Сейчас будет ад», — с трепетом подумала я.

Прямо на нас с восторженной улыбкой, с простертыми руками, обнимающими, казалось, весь мир, быстро шел больной.

Ноги у меня ослабели. Я спряталась за спину товарища. Но больной, заметив профессора, вдруг повернулся к нему и с громкими приветствиями бросился его обнимать.

Это помогло мне прийти в себя. Сделав над собой усилие, я более спокойно смотрела на все, что нас окружало. Теперь я увидела просторный коридор с натертым паркетным полом, а в палатах массивные кровати.

Веселый больной беспричинно радовался, вмешивался во все разговоры, остроумно вставлял свои замечания,

жестикულიровал и, казалось, был в курсе жизни всего отделения.

Другие больные прохаживались по коридору, одни быстро, другие медленно, что-то бормоча, порой громко выкрикивая. Один угрожающе сорвался с места, но вдруг с тревожным лицом вернулся обратно. Каждый жил своей жизнью, не интересуясь окружающими.

Я была поражена. «Буйное» отделение психиатрической больницы представлялось мне прежде чем-то страшным, куда не решишься войти, где бродят обезумевшие люди, забытые, брошенные на произвол судьбы, потерявшие человеческий облик, запертые навсегда. Такой казалась психиатрическая больница моим родителям, знакомым, приятелям. Я представляла ее по картинам английского художника Хогарта и немецкого художника Каульбаха. Это они запечатлели на своих полотнах «сумасшедший дом», обитатели которого вселяют в зрителя ужас. Один больной кого-то обнимает, другой вырывает у себя волосы и смотрит вдаль взглядом победным, восторженным и безумным, а в стороне тучный зритель с плеткой с лицом равнодушным, тупым и почти таким же бессмысленным, как у его поднадзорных.

Здесь же передо мной проходили опрятные, аккуратно подстриженные больные, и малейшее нарушение дисциплины среди них вызывало вежливое, доброжелательное вмешательство спокойного, опытного медицинского персонала.

Правда, в этом отделении «для беспокойных» я увидела и необычное. Мы вошли в одну палату, где на кровати в неудобной позе, словно окаменев, как-то вычурно, с поднятой рукой, сидел больной. У него было лицо трупа. Напряженные, стянутые в хоботок губы, острый нос, но живые, казалось, понимающие глаза. Больной находился в таком состоянии уже много дней. Изменить его позу нельзя было даже силой.

Не страх, а глубокая жалость овладела мной. Подойдя к несчастному, я погладила его острое плечо. Под моей рукой мышцы напряглись, словно сопротивляясь. Это было так непонятно, что все другие чувства, кроме любопытства, исчезли. Я глядела на больного, как на загадку.

Принесли кружку с питьем и поставили перед больным. Два сильных санитаря бережно повернули больного, приготовили к кормлению. Перед этим палатный врач в течение 10 минут уговаривал его есть самостоятельно. Медицинская

сестра поднесла питье — смесь подогретого молока, масла, сахара и сырых яиц. Давясь и сопротивляясь, больнойпил глоток за глотком из ложки. А я стояла и удивлялась великому терпению медицинских работников. Я вышла из палаты и ждала товарищей у двери в коридоре.

Мимо прошел высокий бледный юноша. Он остановился недалеко от меня и, к чему-то прислушиваясь, гневно погрозил пальцем.

В стороне, куда погрозил больной, никого не было. Я насторожилась, готовая каждую минуту убежать к товарищам. Но стало ясно, что больной занят собой, и мой страх исчез.

Мы продолжали обход. В конце коридора увидели плачущего, убитого горем старика.

— Что вы, дедушка, плачете? — спросил участливо профессор.

— Все родные мои сгорели. Давеча похоронил жену и детушек.

— Но ведь сегодня утром к вам приходили жена и сын, — напомнил профессор.

— Нет, не было их. Всех матушка-земля укрыла, — заплакал старик, утирая слезы рукавами халата.

Мы увидели больного, считавшего себя философом. Небрежно перебросив через плечо, словно греческую тогу, свой халат, он шагал по коридору медленно, с гордой осанкой, видимо о чем-то размышляя.

Профессор показывал все новых больных.

Наша группа направилась в отделение «для спокойных больных». То, что мы увидели здесь, показалось еще более удивительным. Мы вошли в просторный чистый коридор. Паркет отсвечивал зеркальным блеском. На окнах висели красивые шторы, на стенах — картины в золоченых рамках. В огромном светло-голубом зале была уютно расставлена мебель, столы покрыты вышитыми скатертями, в углах стояли пальмы. Все это вместе с солнечным светом, обильно лившимся в широкие окна, создавало ощущение покоя. Одни больные читали, другие беседовали или занимались ручным трудом.

У стены на диване сидел широкоплечий красивый мужчина. Тонкие, с изгибом губы, ровный нос, высокий гладкий лоб, светлые шелковистые волосы и серые глаза — все выражало полный душевный покой и что-то еще, чему я не находила названия.

При моем появлении больной вежливо встал и сел только тогда, когда я отошла. Так ведут себя воспитанные люди в присутствии женщин.

«Совсем нормальный человек!» — подумала я. — «Как он попал в сумасшедший дом? Как мало он похож на того юношу, который грозил кому-то в пространство».

Мне хотелось спросить этого человека, не произошло ли здесь врачебной ошибки?

Обход с профессором продолжался.

Я стала присматриваться к врачу отделения. В моем представлении психиатры были людьми необычными. А врач оказался простой скромной женщиной Анной Ивановной Мироновой. Она терпеливо выслушивала каждого больного и мягким, уверенным тоном давала советы. Я заметила, как после беседы с ней встревоженные выглядели более спокойными, капризные — послушными. Видимо, эта женщина воплощала в себе врача, начальника, мать и друга. На всю жизнь запечатлелись у меня в памяти ее большие темные глаза.

Мне известна одна семья, в которой психически заболел сын. Родители приглашали врачей всех специальностей, только не психиатра. Терапевт прослушал отличные тоны сердца и объявил, что больной здоров. Невропатолог проверил живые, здоровые рефлексы и не нашел отклонений. А психиатра не звали, боясь «напугать» больного. Когда же необходимость заставила пригласить психиатра, родные скрыли это от больного, выдумав для его «спокойствия» какую-то ложь. Какое вредное предубеждение против врачей-психиатров, выполняющих большую гуманитарную задачу — возвращение человека к здоровой, полноценной жизни!

Пока я присматривалась ко всему окружающему, какой-то больной, извинившись, отозвал меня в сторону. У него было обыкновенное, с мелкими чертами, лицо, ясный, как у ребенка, взгляд. Шепотом, с большими предосторожностями больной сообщил мне, что он изобретатель-физик, а в «сумасшедший дом» попал по недоразумению, стараниями злых людей. При этом сунул мне в руку письмо и попросил опустить в почтовый ящик.

— Вы должны понять, — добавил он, — что в некоторых случаях бывает трудно доказать свою правоту. Вы молоды (он снисходительно посмотрел на меня). Однако если прочитаете философские повести Вольтера, то поймете мое положение и превратности судьбы. Если читали, то,

наверное, помните эпизод с пропавшей королевской собачкой и лошастью. Задиг по следу определил, что лошадь хромя и пришел к правильному выводу. Однако за свою наблюдательность и откровенность пострадал.

— Да, помню, — сказала я, намереваясь продолжить беседу, но мои спутники потянули меня за собой.

Больной признательно, украдкой, пожал мне руку и, отойдя в сторону, смущенно улыбнулся.

Меня охватило возмущение. Как можно здорового человека заключить в психиатрическую больницу?

Неожиданный по своей новизне трудный день кончился. Мы уже шли к выходу, когда перед нами очутился красивый сероглазый мужчина, которого я видела раньше. На вид ему было лет сорок пять.

— Кто это? Тоже больной? — спросили студенты.

— Да, архитектор, наш старый знакомый, Иван Иванович, — сказал профессор.

Больной направился к нам нетвердыми шагами. Теперь его лицо казалось маскообразным. Беспечная улыбка, глаза, излучающие необъяснимое в этой обстановке благодушие, производили странное впечатление.

— Здравствуйте, Иван Иванович, — поздоровался профессор.

— Здрсте, — ответил больной.

— Как живете, Иван Иванович?

— Блгодарю вас, — проглатывая гласные и расплываясь в улыбке, ответил тот.

— Расскажите-ка, Иван Иванович, студентам, какой у вас характер.

— Первый сорт!

— Вы богаты?

— Да, очень! У меня денег миллионы. На днях я по своему проекту буду строить себе виллу из розового мрамора.

Больной улыбался, он был полон радостных надежд.

— И вы не огорчены, что в разлуке с семьей, не работаете, больны?

— Я совершенно здоров! — беззаботно воскликнул мужчина и, закатав рукав серого халата, продемонстрировал дряблые мышцы полной руки.

— Ну, а что будем делать дальше? — спросил профессор. Больной подмигнул и хриплым голосом запел какую-то блатную песенку.

Ему было очень весело, а мы, студенты, стояли без улыбок, с вытянутыми лицами. И, видимо, у всех, как и у меня, что-то неприятно тоскливо щемило внутри. Было обидно и жалко. Вернется ли этот человек к жизни? Неужели ему ничем нельзя помочь?

Мне хотелось скорее все узнать, и после обхода я получила у врача разрешение познакомиться с историей болезни архитектора. Мелко исписанные листки раскрыли мне целую жизнь человека со дня рождения, детства. Все было, как у многих других детей. Дальше шло описание характера, склонностей, влечений. Учился он отлично, окончил два факультета, женился. Проработал несколько лет архитектором, был послан за границу. Человек серьезный, семьянин, он, однако, незадолго до отъезда из Парижа увлекся женщиной не очень высоких моральных качеств.

Через два месяца, возвратившись на родину, заметил на теле розовые папулы. С ужасом подумал о сифилисе, но тут же отверг эту мысль. И только спустя месяц пошел по чьему-то совету к знахарю — так называемому «тибетскому» врачу, который лечил травами от всех болезней. Тот обнаружил сифилис, но успокоил больного и дал настой из трав. Травы как будто помогли. Скоро все исчезло, архитектор успокоился.

Видя, что признаки болезни больше не появляются, архитектор стал сомневаться в диагнозе. Затем постепенно уверил себя, что это была ошибка врача, и перестал думать о неприятном случае.

Все последующие годы много работал, по его проектам было выстроено несколько хороших зданий.

Архитектору было сорок семь лет, когда сослуживцы стали замечать какие-то странные изменения в его характере и поведении. Прежде подтянутый, хорошо одетый, тактичный, вежливый, он стал неряшливым и часто необъяснимо грубым. Как-то около кассы театра в присутствии знакомых дам рассказал неприличный анекдот. Стал плохо спать, чувствовал некоторый упадок энергии, какую-то расслабленность, неспособность заниматься умственной работой, но был, как всегда, весел и шутив. Незначительные промахи в работе не беспокоили его и вызывали только беспечную усмешку.

Обратиться к врачу заставили родственники. Считая свое состояние результатом переутомления, архитектор убедил в этом и врачей курортной комиссии.

Осмотрев больного, врачи обнаружили симптомы нервного переутомления, которые, как правило, сходны между собой при самых различных нервных болезнях. Архитектор на первый взгляд больше всего нуждался в курортном лечении. И, действительно, по возвращении с курорта он выглядел физически поздоровевшим.

Но вот однажды в беседе с товарищами он заявил, что собирается строить виллу из розового мрамора недалеко от греческого Акрополя. Вечером, придя домой, он сделал бутерброд из хлеба с жидким мылом и стал его есть, уверяя жену, что от этого улучшается работа кишечника. Архитектора поместили в больницу.

В результате исследований выяснилось, что у больного прогрессивный паралич — следствие давно перенесенного сифилиса.

Какая страшная повесть! Как внимателен должен быть врач к больному.

«Внимание к больному будет моим главным правилом!» — обещала я себе.

Прежде, когда я слышала о прогрессивном параличе, мне представлялось, что это означает полную неподвижность. Теперь я поняла, что в основе лежит прогрессирующий процесс в мозгу, ведущий к слабоумию, что является результатом поражения коры головного мозга — органа сложного и тонкого, уравнивающего организм с окружающей средой.

Мне стало понятной сущность прогрессивного паралича. Постепенно разрушаются нервные клетки и кора головного мозга. У человека утрачиваются прежде всего самые тонкие, высшие этические и моральные свойства личности, чуткость по отношению к окружающим, стыдливость, критика своих действий.

— Что же, архитектор таким и останется? — с трепетом спросила я Анну Ивановну Миронову.

— Нет, мы его начали лечить.

— А как?

Анна Ивановна улыбнулась моему нетерпению и ответила: — Таких больных лечат гипертермическим методом — высокой температурой. Мы прививаем им трехдневную малярию — берем несколько кубиков крови у больного малярией и впрыскиваем под кожу. После десяти — двенадцати приступов с высокой температурой малярию излечивают с помощью хинина, а затем проводят специфическое против

сифилиса лечение, например бийохинолом. Высокая температура ослабляет возбудителей болезни, и дальнейшее специфическое лечение уже дает успех.

— И архитектор будет совсем здоров?

— Не берусь утверждать. К сожалению, болезнь запущена. Но пока что работу меньшей сложности он выполнять безусловно сможет. И такую работу мы ему найдем.

— Но разве трудоустройство больных дело врача?

— Нет, но ведь человека надо вернуть обществу не ущемленным, а бодрым.

Усталая, взволнованная пережитым, я вышла на улицу. В кармане нащупала письмо, переданное мне физиком-изобретателем. «Надо отправить», — подумала я и уже хотела опустить письмо в ящик, как вдруг обратила внимание на то, что оно адресовано на имя известного академика. Это меня смутило. К тому же было любопытно узнать, что пишет человек, которого я твердо считала здоровым. Пришлось вернуться в больницу и посоветоваться с Анной Ивановной. Она распечатала письмо и, улыбнувшись, прочитала:

«Глубокоуважаемый Ипполит Сергеевич!

Уведомляю Вас, что личные враги засадили меня в сумасшедший дом. Они думают воспользоваться моими изобретениями. Как Вам известно, я открыл способ передачи мысли на расстоянии и для этого изобрел сплав для граммофонных пластинок, благодаря которому голос с пластинки будет слышен сразу в нескольких городах. Здесь, в сумасшедшем доме, мне строят всякие козни. Сегодня ночью враги направили из отдушины инфракрасные лучи на мой мозжечок. Исчадия ада полагали расплавить его и выведать секреты. Это им не удалось, я вовремя закрылся одеялом.

Прошу, Ипполит Сергеевич, высвободить меня из этого бедлама.

Премного обязанный Вам физик-изобретатель Цирцеев».

Значит, он действительно психически больной! Мне вновь представились ясные, как у ребенка, глаза, разумная речь. Выйдя от врача, я заплакала.

Домой вернулась в полной растерянности и, кажется, в первый раз в жизни по настоящему глубоко задумалась.

...Когда я однажды потеряла деньги и горько плакала, моя старая бабушка сказала мне: «Деньги потерял — ничего не потерял, здоровье потерял — половину потерял, ум

потерял — все потерял». Не сразу я поняла горькую мудрость этой поговорки. Поняла и другое: потерянный ум можно найти...

Прошел год. К моменту выбора профессии мне было ясно, что я не в состоянии оставить трудную, но увлекательную задачу — изучать психическую деятельность человека и возвращать его к трудовой жизни.

Так, время, проведенное в психиатрической больнице, определило мое будущее.

Я стала с особым чувством приглядываться к окружающим меня людям, вслушиваться в их речь. Резкие реплики, споры, недисциплинированность — все казалось мне проявлением ненормальности. Самые умные и нормальные на мой взгляд люди в разных ситуациях жизни зачастую совершали неумные, необдуманные, а иногда и ненормальные поступки. По учебнику психиатрии все укладывалось в строгие четкие рамки классификации. Живой больной с его страданием оказался куда сложнее. Вот здесь и трудно выпутаться из противоречий, которые возникают на каждом шагу. На помощь приходили книги, беседы со старшими товарищами. Это обогащало, но меньше, чем общение с больными. Лекции профессоров и врачей клиники очень много прояснили. Но все-таки окончательно разобраться в трудных вопросах помогла мне сама жизнь, практика.

Спустя два месяца после знакомства с «сумасшедшим» Цирцеевым я встретила его на улице. Он шел с видом занятого человека с портфелем в руке.

«Интересно, сумасшедший разгуливает по улицам?» — удивилась я и решила пройти мимо.

Цирцеев меня узнал, подошел и «нормально» заговорил.

«Знаю, что у тебя бред и теперь меня обмануть трудно!» — подумала я. В зачетной книжке у меня по психиатрии стояло: «отлично».

— Что вы сейчас делаете? — спросила я заинтересованно.

— Работаю физиком в научно-исследовательской лаборатории.

— Работаете? — вырвалось у меня.

— Конечно... Вот оттиск моей последней научной работы.

Цирцеев неспеша открыл портфель и показал мне печатный оттиск монографии.

— Когда же вы успели написать?

— Работу я закончил до болезни, а сейчас пришлось только немного выправить...

— А как те... которые направляли на ваш мозжечок инфракрасные лучи? Помните, вы даже передали мне письмо?

На его лице появилось разумнейшее выражение снисхождения к моей глупой бестактности.

— Надеюсь, вы тогда передали письмо врачу?

— Да...

— Очень признателен... Вам теперь должно быть понятно, что я был тяжело болен...

— И... Сейчас вас уже ничто не беспокоит?

— Как видите... Абсолютно здоров.

Очевидно, беседа со мной не доставила Цирцесву удовольствия. Он вежливо приподнял шляпу и твердыми шагами пошел вперед.

Я медленно побрела в обратную сторону, но шаги, помимо моей воли, делались все быстрее. Мысли кружились беспорядочным, но веселым вихрем: «И зачем профессор поставил мне в зачетной книжке „отлично“? Разве я „отлично“ знаю психиатрию? Конечно, нет! Но знать ее я непременно буду! Безнадежных нет! Есть ради чего жить и работать».

Свернув вправо, я оказалась перед массивной дверью психиатрической клиники. Возникла мысль поделиться впечатлениями с Анной Ивановной. Мне пришлось ее подождать. Пыл немного остыл.

Она встретила меня радушно и провела в свой кабинет. Там на диване сидел мужчина, который при нашем появлении встал и вежливо поклонился.

— Ну, значит, выписываемся? — весело спросила Анна Ивановна.

— Да, благодарю вас! — улыбаясь, живо ответил мужчина, в котором я сразу узнала архитектора.

Но что произошло? Я была живым свидетелем перерождения человека. Слово «благодарю» он произнес правильно, не пропуская букв. Лицо стало более осмысленным, хотя благодущная улыбка, может быть, и не совсем подходила к данному моменту. Поведение этого человека было вполне «здоровое». Из заключительной беседы архитектора с Анной Ивановной я поняла, что у него ослаблена память, что он еще склонен принимать невозможное за возможное.

по искренне радуется своему выздоровлению и мечтает о любимой работе.

— А помните, Иван Иванович, как вы собирались воздвигнуть виллу из розового мрамора?

— Заскок, Анна Ивановна, — смущенно улыбнулся архитектор и, пожав нам обеим руки, ушел бодрый и спокойный.

— Анна Ивановна, это чудо! — не выдержала я.

— Да, чудо, — серьезно ответила она. И, помолчав, добавила, — но оно в наших руках.

ПОПУТЧИКИ

Я только что сдала государственные экзамены. Пять лет упорного труда над книгой, в клиниках и лабораториях были позади, оставалась только одна забота: куда же ехать работать врачом? Выбор большой. Глаза разбегаются! Миновали и последние студенческие каникулы, которые я провела у родителей на юге, а теперь возвращалась в Москву.

В вагоне поезда было жарко, за окном мелькали поля спелой ржи. Попутчиков было мало. Скоро, как это бывает в поезде, с ближайшими соседями установились самые дружеские отношения.

В моем купе ехали две женщины. Одна из них врач Анна Петровна, другая — старушка Ольга Ивановна — фельдшерица. Обе направлялись из Таджикистана в Москву.

Кажется, ничего особенного не было в Анне Петровне. Худощавая блондинка с серыми спокойными глазами, с тихим голосом, неторопливыми движениями. И однако хотелось смотреть на нее, слушать ее голос.

— Вы из Таджикистана? Какая даль! — воскликнула я.

— Ну, что за даль... — возразила Анна Петровна. Ее лицо оживилось и разгладилась складка между размашистыми бровями. Старушка заснула, слегка покачиваясь от движения вагона.

— Я много читала и слышала о Таджикистане, — поспешила я предупредить.

— Да, природа и жизнь там особые... — уклончиво заметила попутчица.

— Должно быть, интересно посмотреть на караван верблюдов? — не отвыкая от девичьего многословия, сказала я. — Они ведь очень важные, степенные; не идут, а выступают. А на шее у каждого, наверно, звенит колокольчик, словно говорит: «Давайте дорогу!» А верблюды глядят гордо, строго, свысока... Очень занятно, правда? — наконец, остановилась я.

— Да, верблюды действительно смотрят свысока, да еще и плюют на нижестоящих.

В спокойных глазах Анны Петровны промелькнула усмешка, а я от всего сердца рассмеялась.

— А тигры у вас ведь тоже есть?

— О тиграх что-то не слыхала, разве на границе Афганистана? Дикае козы — джейраны водятся. До чего грациозное животное, изящное и любопытное создание! Едете вы, скажем, на автомобиле, они пугливо пересекут на всем скаку дорогу или обгонят машину, а потом вдруг замрут на месте, как вкопанные, и долго-долго провожают вас взглядом огромных черных глаз. Если джейранов испугнуть, они, конечно, удерут, но обязательно остановятся опять и снова будут глазеть вам вслед. Любопытство сильнее страха, прямо, как у малых ребят, — улыбнулась Анна Петровна.

— А как живут таджики? Должно быть, сидят у кибиток в шелковых халатах, белых чалмах?

— Мужчины любят проводить свободное время в чайхане (чайной). Они обычно мирно беседуют и пьют кокчай — зеленый чай.

— Это в пятидесятиградусный зной?!

— Удивляетесь? Я сперва тоже удивлялась, а затем и сама пристрастилась. Зеленый чай лучше всех напитков утоляет жажду.

— Мне рассказывал один человек, — заметила я, — что природа в Таджикистане прекрасная... Я представляю себе вокруг хлопковые поля. Тишина необычайная. Кажется, ни одного живого существа, а присмотришься, и вдруг мелькнет стройная дехканка, заметит вас, улыбнется, показав белые крепкие зубы, обожжет взглядом черных глаз, блеснет серебром сквозь шелк платка, взметнутся длинные смоляные косы, и до свидания! Только ее и видели... А кругом вьется виноград, зреют сочные гранаты... Надоело здесь жить, сел на коня и поехал на «Крышу мира» — на Памир... Вы там были?

— Пришлось... — сдержанно ответила Анна Петровна.

— Представляю себе... Я видела даже фотоснимки. На покатых горах нетающий снег, а у подножия яркие цветы, наверное особенно много красных маков. Едешь, тропинка ведет все выше и выше, взглянешь вниз — без привычки, конечно, закружится голова... Страшно, должно быть, если на повороте лошадь неловко шагнет. А на дне пропасти рвется пенистая речка и такой грохот стоит, что не услышишь и попутчика... А то вдруг среди гор откроется глазам зеленая долина, а на ней стадо тучных, таких ленивых овец.

Анна Петровна вдруг рассмеялась тихим, добродушным смехом.

— Вы так рассказываете, словно все это видели своими глазами.

— А разве там иначе?

— Нескольким лет тому назад, например, долина Вахш представляла собой безводную пустыню с обитателями: пауками-фалангами, ящерицами и скорпионами...

— Неужели? А теперь что там?

— Прорыли канал, пустили воду из реки Вахш... Теперь не только хлопок, но и виноград растет...

— Ой, как интересно! Анна Петровна, а где вы жили прежде?

— В Москве...

Не зная предела своему любопытству, я спросила:

— А почему теперь в Таджикистане?

— Да, видите ли... перед тем как мне окончить медицинский институт, погиб мой муж... летчик... а скоро и ребенок наш... умер... вот и не могла... все напоминало...

Голос Анны Петровны стал глуше, взгляд строже, а между бровями снова залегла складка. Я заметила, как дрогнули ее бледные губы.

— Анна Петровна! Расскажите о вашем сельском участке, — поправляя свое неуместное любопытство, попросила я.

— Ну, что же, — без улыбки сказала Анна Петровна. — Приехала я в районный центр Файзабад. Запущенный одноэтажный дом с мусором вокруг и представлял собой сельскую амбулаторию.

— И много было там врачей?

— Ни одного... Работали в амбулатории только Ольга Ивановна, медсестра-переводчица Тамара, да две санитарки.

— Наверное, обрадовались вашему приезду?

— Вначале не очень. Встретили с оглядкой... — Анна Петровна вздохнула и продолжала: — В институте меня, видно, как и вас, обучили всем наукам, кроме одной: как обходиться с людьми...

— Да... Этому нас не обучали.

— А вот, слушайте. Начала слишком горячо, требовала я сразу много. Ольга Ивановна крутовата

нравом. Вот и нашла коса на камень... Не успела я освоиться, как выяснилось, что в дальнем кишлаке появился один случай оспы. Небывалый уже в те годы случай. Потребовала, чтобы пожилая Ольга Ивановна с санитаркой выехала в горные кишлаки, в селения. Она сказала, что не умеет ездить верхом на лошади. Я сочла это актом непослушания и разгорячилась. Не умея ездить верхом на лошади, я взяла с собой комсомолку-таджичку, санитарок и медицинскую сестру Тамару со всем необходимым для противооспенных прививок.

— Что же было дальше? — торпила я.

— Так все и поехали.... Целую неделю проводили прививки. Уже заканчивали работу, когда кто-то распустил слух, что русские прививают смерть... — Анна Петровна откинула за ухо светлый завиток волос. — Плохо нам пришлось... Таджички перед нами захлопывали двери кибиток. В отдельных случаях мы делали прививки с большим трудом, долго приходилось убеждать и уговаривать. Никто не хотел продать лепешку или яблоко. В одном кишлаке после прививок несколько темных личностей проводили нас градом камней... Лошадь захромала от ушиба... Едва ускакали...



— А потом?

— Сколько друзей приобрела я потом в этом кишлаке. Но в тот раз после окончания прививок от непривычки к верховой езде и переживаний я заболела, чувствовала себя разбитой. Два дня не поднималась с постели. А Ольга Ивановна не отходила от меня, а потом во всем заменила мне родную мать. С оспенных прививок и началась для меня врачебная практика.

— И оспы больше не было?

— Нет. А через две недели приехал к нам инспектор министерства с приказом срочно провести прививки населению района, где наблюдался случай оспы... А мы уже провели.

— Вы много больных принимали?

— Конечно, только без учета часов и праздников.

— Как же это так?

— А так, с утра и пока всех не примешь. Ведь не откажешь больному, если он проехал километры. А то привезут роженицу или человека, укушенного скорпионом...

— Наверное повидали разных больных? Анна Петровна взглянула в окно вагона на плывущую даль степи.

— Пришлось повидать многое.. Это, конечно, было до того, как оросили долину реки Вахш. Тогда в Таджикистане еще было мало врачей. У меня на глазах умирал от боли в животе дехканин, а я так и не знала от чего, потому что было похоже и на аппендицит, и на заворот кишок, а может быть, и на перитонит, а около нет не только профессора, а просто врача постарше тебя. Вот тогда и начала мыслить, сопоставлять, осторожно действовать, чтобы не повредить. Много было и бессонных ночей. Не отходила от постели больного. И, представьте, нашла причину болезни, помогла, и дехканин выздоровел. Сама не верила.

— Как хорошо, что вы его сделали здоровым!

— Не одна, а вот с ней и с другими, — кивнула она в сторону дремлющей старушки. — Она опытная — бывшая хирургическая сестра, чудесный человек и хороший помощник. На первых порах именно с ее помощью я начала приобретать опыт. Научилась принимать роды, вправлять вывихи, переливать кровь, делать внутривенные вливания и умела уже многое другое, чему так хорошо учит жизнь, практика... Да разве практика сельского врача только в этом? Он самый беспокойный человек в районе. Если в сельпо продают недоброкачественные продукты, врач запре-

щает их продавать. Нет на хлопковом поле медицинского пункта — надо его организовать. Сельский врач — это и неотложная помощь, и скорая. Он обязан устранить боль и не допустить безвременную смерть. Вот здесь и началась врачебная практика.

Анна Петровна без улыбки внимательно взглянула на меня и сказала:

— Если вас не утомит, я расскажу один случай...

— Утомит? — Да я готова слушать целую ночь!

— Должна вам заметить, что осень в Таджикистане очаровательна. В это время поспевают хлопок, зреет виноград, наливаются соком гранаты.

— А зима в Таджикистане бывает?

— Конечно... только она особая. Самое неприятное зимой — это ветер! А вот дождь пойдет, так льет, льет недели, даже вспомнить скучно. Снега почти не бывает. Вам не хочется спать?

— Нет, что вы?! — искренно заверила я.

— Однажды... в очень сырой ноябрьский вечер постучала ко мне в амбулаторию старуха-таджичка и объяснила, что у нее умирает внук, сирота Али.

Анна Петровна приподняла брови, как человек, который что-то припоминает, и взглянула в окно на красноватый закат.

— Такие посещения бывали частенько, и мы никогда не отказывали в помощи. Но как раз в этот день сравнялся год, как умер мой сын. Ольга Ивановна, видимо, и не сомневалась, что и на этот раз визит состоится, и стала собираться вместе со мной в путь. Трудно мне было в этот день. — Анна Петровна вздохнула и продолжала: — Ольга Ивановна — опытная помощница. Она захватила даже маленькую походную лабораторию и все, что может понадобиться. Мне казалось, что лошадь идет слишком медленно, а кишлак неизмеримо далеко... Под проливным дождем, накрытые брезентом, мы пробирались через ущелье горы и приехали на рассвете. Хрупкий, курчавый мальчик, лет пяти, лежал без чувств. Я с трудом посчитала его слабый пульс, послушала сердце, легкие, прощупала большую плотную селезенку. Картина ясная — тяжелая форма малярии.

По-видимому, он болел давно. Наша походная лаборатория дала нам возможность определить у мальчика тропическую малярию. Мне стало ясно: он умрет, если не при-

менить срочного переливания крови. Пока Ольга Ивановна вводила больному под кожу сердечное средство, я взяла капельку крови из пальца больного и определила группу. Моя кровь — первой группы и ею можно было воспользоваться. стакан крови для меня особого значения не имел, а мальчика это могло спасти.

Ольга Ивановна расстелила салфетку, обмыла спиртом мою руку и руку мальчика, приготовила инструменты и с ее помощью часть моей крови была перелита мальчику. Когда к нему вернулось сознание, я уехала домой.

Ольга Ивановна осталась выхаживать больного, как выхаживала всех, кто оставался на ее руках. Через несколько дней я снова провела маленького пациента. Переливание крови и последующее лечение дали ожидаемый эффект.

— И мальчик совсем выздоровел?

— Да. Но малярией болели многие другие, а охватить их всех лечением я была не в состоянии. Вот и пришла мысль организовать малярийную станцию со стационаром.

— И вам пришлось организовать?

— Вы думаете это так просто? — ответила она на вопрос вопросом. — Ведь именно этому ни меня, ни вас не учили. Правда?

— Да, — согласилась я, недоумевая, однако, почему организовать больницу в селе должен сам врач. Мне известно, что больницы открывают различные учреждения, органы здравоохранения, а при чем тут врач, который должен прийти на готовое? В то же время выходит, что именно сельский врач и является главным организатором больничного дела... Непонятно!

Анна Петровна продолжала:

— Эта мысль не давала мне покоя. Вот и стали мы с Ольгой Ивановной частыми посетителями сельсовета, райздрава, а один раз, сытые обещаниями, взяли да и катнули в столичный город Сталинабад, в Министерство здравоохранения. Добились разрешения и назад. Однако здесь трудности и начались... Какая же это малярийная станция — больница, если окна без сеток, а вокруг видимо-невидимо стоячих болот с малярийными личинками комаров. Значит, надо их обезвредить? А для этого где достать парижской зелени или обыкновенной нефти?

Анна Петровна облокотилась на вагонный столик и между ее бровями залегла складка.

— Вот и пошла я на поклон к директору совхоза. Показала ему в цифрах, сколько у нас малярийных больных. Убедила не сразу. Пришлось убеждать через райком партии. Потом дал не только нефти, но и комсомольцев на подмогу. Весь наш персонал нефтевал болота...

— А сетки для окон вам прислали?

— Нет. Мы их нашли в одном соседнем хозяйстве, куда их завезли для оранжереи, да так они и валялись без дела... Долго уламывали председателя колхоза, да так и не уломали, пока он в обмен не получил от нашего сельсовета горбылей для постройки... Только тогда и дал нам сетки, а в придачу овощные лейки, которые мы приспособили для нефтевания. Открыли пункт. Вначале не управлялись, было много больных. Анна Петровна прямо взглянула мне в глаза и сказала: — Но больных становилось все меньше, пока малярию не свели на нет. Нашему опыту приехали поучиться даже научные работники Тропического сталинабадского института. Изучали и проверяли, как мы расправились с малярией.

— А что с тем больным мальчиком?

Анна Петровна вскинула на меня свои серые спокойные глаза.

— Мальчик Али выздоровел. В ту зиму его отец-чабан упал в ущелье и разбился, а единственная родственница — бабка умерла... Ну вот, мы с Ольгой Ивановной и определили его в Суворовскую школу. Теперь учится, постоянно нам пишет... А вот и Ольга Ивановна проснулась, — произнесла рассказчица и ласково взглянула на старушку.

Ольга Ивановна на секунду зажмурила свои темные живые глаза и вдруг улыбнулась. Лицо ее выглядело добрым и немного лукавым. Она поправила выбившиеся пряди седых волос из-под косынки.

— Вишь, сплю без конца, старая, — ворчливо заметила она и бодро, не по летам, поднялась. — Сейчас будем есть дыню! — Ольга Ивановна выкатила из-под сиденья желтую большую дыню.

— Какая огромная! — невольно воскликнула я.

— Это нам в дорогу колхозники наши принесли, — заметила Ольга Ивановна. — Они нынче выращивают такие дыни, что миру на удивление... Нигде таких нет, — говорила она и, разрезав дыню, первый сочный кусок подала мне.

— Кушайте! Жаль, Али полакомиться нельзя, — с сожалением сказала она и смахнула рукой неожиданную слезу.

— Опять за свое?! — словно сердясь, произнесла Анна Петровна.

— Да уж ладно, не буду... Только маловато, родной, у нас погостил и дынь не отведал. Все-таки в Суворовской школе уж очень большие военные строгости. Ну, ладно, не буду... — смолкла Ольга Ивановна и, захватив несколько кусков, пошла угощать попутчиков.

Я поняла, что таджикский мальчик Али, видимо, стал для Анны Петровны вторым сыном.

Поезд прибыл в Москву. Только теперь мои скромные попутчики, врач и фельдшерица, сообщили, что их вызвали в Кремль для получения награды. Я с сожалением расталась с ними.

Через несколько дней в комиссии по распределению врачей меня спросили:

— Где бы вы хотели работать врачом?

— Хочу в Таджикистан! — ответила я совершенно неожиданно не только для комиссии, но и для себя самой.

Председатель, старый профессор, улыбаясь моей поспешности, сказал:

— В Таджикистане молодому врачу, пожалуй, будет трудновато... Ну, а если бы мы предложили вам поехать на Кавказ, скажем, в места, где в свое время побывали и Пушкин, и Лермонтов? Там сейчас тоже нужны врачи...

Видимо, мой голос и поза были унылы. Председатель комиссии лукаво улыбнулся, тепло пожал мне руку и вручил путевку... в Таджикистан. Я почувствовала облегчение и радость. И теперь спустя много лет я иногда вспоминаю о милых попутчиках моей юности.

ПЕРВЫЙ УРОК

13 июля было первым днем моей работы в качестве психиатра.

Я приступила к самостоятельному приему больных в психиатрическом диспансере очень смело. Мне предстояло принять несколько человек. По вполне понятным причинам ни этих, ни других больных не буду называть их настоящими именами.

Двух больных я умудрилась принять очень быстро. И сразу решила, что умею легко и быстро разбираться в людях и болезнях.

Первый мой пациент совсем не считал себя больным, а пришел к врачу, чтобы «излить душу». Он все время благодушно улыбался и заплетающимся языком рассказывал о своих тридцатилетней давности успехах в вольтижировке. Врач, который осматривал его до меня, записал в истории болезни: «Органическое слабоумие». Много лет назад, работая жокеем на скачках, этот человек упал с лошади и получил тяжелую травму лобной части. Теперь передо мной сидел слабый хвастливый старичок, нелепо утверждающий свою силу и ловкость. Я долго смотрела на его детски счастливую улыбку...

Другая больная была старой неряшливой женщиной. Всколоченные космы седых волос спадали на худые, острые, не в меру открытые плечи. Она подмигивала сильно подведенными веками. Смотря на меня черными горящими глазами, больная рассказывала, что «бездельники мужчины» всюду ее преследуют, потому что она красавица, а глаза ее обладают гипнотическим свойством. Больная несла чепуху, а я смотрела на нее и думала: «Разорванная

логика... Корректированию — исправлению не поддается... Все совершенно просто и ясно...».

Ее рассказы потешали меня своей дикостью и нелепостью. Я усмеялась... и хорошо, что больная была занята только собой и не замечала этого.

Следующий больной произвел на меня сначала очень хорошее впечатление. На нем была чистая рубашка, тщательно выутюженный костюм, начищенные ботинки. Даже причесан он был как-то особенно гладко — каждый волос на своем месте. Лицо у него было приятное, правильное, взгляд карих глаз мягкий. Он вынул чистый носовой платок, не торопясь разостлал его на стуле и только тогда сел. Никакой суетливости, нервности в его движениях не замечалось. Наоборот, он казался, пожалуй, излишне степенным и медлительным. Достав из кармана объемистую тетрадь, обернутую чистой бумагой, больной положил ее перед собой.

— Вы, наверное, аккуратный человек? — спросила я больного.

— Да, я люблю, чтобы у каждой вещи было свое место. У меня папаша и мамаша тоже были хозяйственные.

В истории болезни стоял диагноз: «Эпилептическое слабоумие», т. е. ослабление функций мозга в связи с эпилепсией.

«Что за нелепость, — подумала я, — наверное, ошибка». Больной вовсе не производил впечатления слабоумного. Более того, он казался человеком разумным, сдержанным и деликатным.

В истории болезни я прочитала, что его отец плотник, был горьким пьяницей и «припадочным». Сам больной с детства был приучен к плотничанью. Затем окончил курсы счетоводов. После десяти лет работы его обвинили в умышленном недописывании цифр в денежных документах и привлекли к судебной ответственности. Счетовод заявил, что страдает припадками. Следовательно направил его на экспертизу в Институт судебной психиатрии. Оказалось, что больной действительно страдает припадками. После непродолжительного лечения больной снова стал работать. Сослуживцы и начальство относились к нему недоверчиво; когда ошибки повторились, ему предложили подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Счетовод раскричался и бросил в начальника счета. Его хотели судить за хулиганство, но психиатрическая экспертиза снова

признала его больным. Счетовод был уволен и поступил на новое место. Здесь тоже в подсчетах продолжал делать ошибки. Стал несколько рассеян, забывчив. С работы его уволили по сокращению штатов. Он долго судился и доказывал свою правоту. От постоянных волнений у него участились припадки и ухудшилась память. Умственная работа стала не под силу. Взаялся за свою старую профессию плотника. Нелегко и не сразу снова привык он к этой работе.

— Когда у вас был последний припадок? — спросила я.

— Разрешите, драгоценный доктор, рассказать следующее, — начал посетитель с приятнейшей улыбкой на лице и заглянул в объемистую тетрадь.

— Что это вы читаете?

— Забываю, доктор. Память никуда, — словно оправдываясь, пояснил он.

— Ну, рассказывайте, — предложила я и приготовилась слушать.

Большой заговорил монотонно:

— Вчера я направился в гости. По дороге зашел в магазин купить что-нибудь к ужину... Я, видите ли, человек холостой и, естественно, должен о себе заботиться, потому что женской заботы не имею...

— И никогда не были женаты?

— Нет. Болезнь мешала. За мной мамаша присматривает. Он заглянул в тетрадь и продолжал прерванную мысль.

— Да, зашел я в магазин и все купил. Мне хотелось пройти пешком, но стал накрапывать дождь и я поехал трамваем...

— И здесь с вами случился припадок?

— Сию минуточку, — улыбнулся моей поспешности больной, и я увидела его мелкие редковатые зубы.

— Да... Так вот, когда я ехал в трамвае, у меня схватило живот. С предупредительной целью я сошел у Арбата. Там, знаете ли, есть общественное место...

— Здесь и случился припадок? — снова перебила я.

— Сию минуточку, дорогой доктор, — произнес он, входя во вкус рассказа, и, действительно, красочно описал посещение «общественного места».

«Да ведь он притворяется! — мелькнула у меня мысль, — он просто симулянт, который сумел обмануть не только суд, но и врачей. Да, он в самом деле симулянт!»

— Потом я направился по Гоголевскому бульвару... — больной заглянул в тетрадь. — Нет, простите, драгоценный доктор, я пошел по Арбату.

— Это же не имеет никакого значения.

— Как не имеет значения? — удивленно сверкнул блестящими карими глазами «симулянт».

Взгляд его был так невинен, а вопрос так искренен, что мысль о симуляции мгновенно рассеялась.

Вспомнилось, что в специальной литературе отмечается особый блеск глаз у эпилептиков. Только теперь стало понятно, что если даже я буду очень разъяснять больному его ошибки, то он все равно не поймет. Когда я его перебивала, он внимательно и вежливо смотрел мне в лицо, словно вдумываясь в каждое слово. Однако на вопрос не отвечал, а, подумав, продолжал рассказывать свое. Каждая его фраза казалась до того взвешенной и томительной, что появлялось чувство облегчения, когда он ее кончал.

Стараясь припомнить мельчайшие детали своего путешествия по Арбату, он уже не обращал внимания на мои вопросы, на попытки остановить его.

— Затем у Серебряного переулка я зашел в аптеку купить мыло. У самых дверей какая-то гражданка меня толкнула и не извинилась. Меня это взорвало, и я, естественно, стал требовать извинения. Гражданка посмела называть меня дураком...

И он продолжал рассказывать о том, как гражданку повели в милицию, где был составлен протокол, как он остался недоволен протоколом и решил жаловаться.

— Я вас прошу рассказать о последнем припадке. Все эти подробности не нужны, — не выдержала я.

Больной внимательно выслушал меня и словно ни в чем не бывало продолжал свой бесконечный рассказ...

— Мы выпили чаю, а Ирина Семеновна заявила, что чай не настоящий, пахнет грушами. Я стал доказывать... Неправды не люблю... У меня и мамаша с папашей...

Опять мучительный вопрос встал передо мной: симулянт он все-таки или больной? И главное — как его остановить?

Я пасовала перед его упорной настойчивостью. И вдруг неожиданно для себя сказала:

— Довольно о чае с грушами. Расскажите о припадке.

Тяжелым взглядом больной посмотрел на меня и с достоинством произнес:

— Во-первых, чай был не с грушами, а настоящий. Ирина Семеновна напрасно меня обидела. Я, конечно, всегда буду помнить об этом. А что касается припадка, то вы, доктор, так бы и сказали, а обижаться нечего.

«Такой нелепый ответ может дать только больной»,— решила я и облегченно вздохнула. Однако он снова раскрыл свою толстую тетрадь и объяснил, что в ней записаны все его припадки за шестнадцать лет...

Наконец, я встала и твердо заявила, что прием окончен. Если он хочет подробно ознакомить меня со своими припадками, пусть оставит тетрадь.

Тетради своей он не дал, а сказал, что в следующий раз придет и расскажет все до конца. Невыносимо медленно складывая носовой платок, он укоризненно заметил:

— Напрасно, доктор, вы так спешите. Больного узнать надо. Я этого так не могу оставить. Поставлю в известность вашу администрацию...

Больной представлял собой живую иллюстрацию того, что в психиатрии именуется гениальной, врожденной, эпилепсией. Главный признак этой психической болезни — судорожный припадок. Но есть формы эпилепсии, когда припадков не бывает, а вместо них — выключение сознания на секунды, упадок настроения, тоска, беспричинная озлобленность, стремление бить, крушить все, что попадает под руку. Постепенно все резче изменяется характер. У больного нарастают эгоизм, педантичность, себялюбие, мелочность, слабеют память и другие функции мозга. Но, конечно, это бывает не всегда и не у всех и зависит от многих условий.

Оставалось совсем мало времени для приема остальных больных.

От первоначального моего задора и смелости не осталось и следа. Было тупое равнодушие. Даже сообщение медицинской сестры о том, что пациент пишет жалобу (это в первый день работы!) меня не тронуло. Я еще не полностью отрешилась от мысли, что это симулянт.

Вошел санитар и сообщил, что с каким-то больным плохо. Выбежав из кабинета, я увидела, как рухнул на пол тот, кого я считала «симулянтом»...

По книгам и небольшой студенческой практике мне был хорошо знаком весь механизм припадка. Однако то, что я увидела, мне показалось необычным, опасным. Он лежал с красным перекошенным лицом и остекленевшим взгля-

дом. Мелькнули белки закатившихся глаз. Тело больного вытянулось, окаменело, а лицо посинело. Запрокинутую голову потянуло в сторону, и тело стало ритмично, с невероятной силой, биться о пол. В горле у него заклокотало, захрипело, и сквозь стиснутые зубы показалась кровавая пена.

— Ложку! — закричала я и дрожащими руками пыталась вставить поданную мне ложку между судорожно сжатыми зубами. Ложка, наконец, была вставлена, но поздно: язык больного был прикушен и кровоточил.

Я открыла веки больного и заглянула в зрачки. Они были расширены и не реагировали на свет.

Мне показалось, что он умирает, и, растерявшись, я крикнула:

— Санитар! Сестра! Немедленно перенесите его в кабинет!

— Сейчас, доктор, перенесем... Пусть здесь полежит немного, — вежливо ответила старшая медицинская сестра и подложила под голову больного подушку.

Ее спокойный голос сразу отрезвил меня, и я поняла, что так и надс. А сестра неторопливо стала делать то, о чем я и не подумала: она ловко развязала галстук, расстегнула ворот рубахи и пояс брюк. Больной сразу задышал ровнее, лицо его порозовело. Наверное, в тот момент я в первый раз в жизни ощутила настоящую радость. Затем моего пациента уложили на кушетку. Он долго спал, а я сидела рядом, внимательно прислушиваясь к его ровному дыханию.

Пожалуй никакой учебник не дал мне столько, сколько один день самостоятельного приема больных.

Древняя медицина учила: «Не вреди!». Теперь, мне казалось, я поняла значение этих слов. Больному можно повредить не только неправильным советом, лекарством, но и личным отношением к нему.

Мне было стыдно, что я, врач, проявила беспомощность, нетерпение. В глубине души я была благодарна медицинской сестре за хороший урок.

СУД

Спустя несколько месяцев я освоилась со своими обязанностями и вошла в круг интересов диспансера и своих больных.

Неожиданно произошло новое событие. Анна Ивановна Миронова, мой первый наставник, добросовестный и опытный врач, о которой все отзывались тепло и сердечно, была обвинена в преступной халатности, едва не повлекшей за собой смерть пациента.

Я была поражена. В чем дело? Какую ошибку допустил столь опытный врач? Предстать в качестве обвиняемой перед медицинской общественностью казалось мне куда страшнее, чем очутиться на настоящей скамье подсудимых. Каким образом после многих лет примерной работы могла Анна Ивановна проявить халатное отношение к больному?

Я освободилась от всех дел и приехала на собрание.

— Уже собрались все! — шепотом сказала мне санитарка, указывая на дверь.

Я прошла в зал, переполненный людьми. Председатель собрания, старый заслуженный профессор И., читал:

«10 июня 19... года гражданка Е. Ф. обратилась в Управление городского психиатра с просьбой привлечь к ответственности врача Миронову, которая почти довела до гибели больную К., сестру гражданки Е. Ф. Несмотря на высказанные этой родственницей опасения, врач Миронова продолжала опасное для жизни больной лечение, едва не окончившееся смертью, в чем гражданка Е. Ф. усматривает преступную халатность.

Для рассмотрения заявления гражданки Е. Ф. созвано наше сегодняшнее собрание. Специально выделенная комиссия поручила мне сообщить присутствующим следующие установленные ею данные:

1. Больная К., инвалид первой группы, в течение последних пяти лет страдает психическим расстройством в форме шизофрении.

2. Больная К. в связи с бредом отравления систематически отказывалась от пищи, была значительно истощена.

3. Несмотря на сомнение консультанта-терапевта в возможности проведения терапии сном врач Миронова продолжала лечение.

4. Не принимая во внимание предупреждения родственников о том, что больная К. слаба и может не вынести лечения, врач Миронова, однако, это лечение продолжала.

На вопросы членов комиссии врач Н-ской больницы Миронова сообщила, что больная действительно была истощена, но что ей давались такие же минимальные дозы снотворного препарата, как и другим в такой же мере истощенным больным. Ухудшение состояния, выразившееся в шоке, — это неожиданность, случай, который, она, Миронова, предусмотреть не могла. Во всяком случае она приняла все необходимые меры к спасению больной во время наступившего ухудшения.

«Ввиду всего вышеизложенного, — продолжал председатель, — врач Н-ской больницы Анна Ивановна Миронова должна ответить, почему она, несмотря на явные признаки физического истощения больной и невзирая на предостережения, продолжала терапию сном, в результате чего и последовало ухудшение, то есть шок, от которого больная едва не погибла». Профессор сдвинул очки на лоб и спросил:

— Угодно ли вам будет ответить?

Бледная Анна Ивановна, исхудавшая с тех пор, как я видела ее в последний раз, поднялась с места.

— Я уже объясняла комиссии там...

— А сейчас вы должны объяснять это здесь! — сухо перебил председатель.

«Он заранее уверен в виновности Анны Ивановны и ее судьба глубоко ему безразлична», — думала я.

Запинаясь от волнения, Анна Ивановна повторила все, что рассказывала прежде.

— Какие меры были приняты вами для спасения больной? — спросил председатель. Говорил он тихим голосом, и лицо его было сурово и хмуро.

Анна Ивановна, как бы недоумевая, рассказала об искусственном дыхании, о впрыскивании сердечных средств,

обо всем том, что она должна была сделать, и не только должна была, но и сделала. А теперь вдруг об этих самой собой разумеющихся вещах ее спрашивают, и это ее удивляет.

— Почему вы не приняли во внимание заключение терапевта об опасности применения терапии сном? — строго и придирчиво спросил председатель.

— Я — врач и, полагаясь на свой опыт, имела право и должна была в данном случае решить, продолжать ли лечение.

— Значит, вы не считаете себя повинной в происшедшем?

— Не думаю, что я виновата.

— Значит, слова ваши надо понимать как отрицание вины?

— Да.

— Чем вы можете это обосновать?

Анна Ивановна слегка побледнела и в замешательстве замолчала.

— Может быть, вы полагаете, что в организме больной была какая-нибудь особенность? — задал вопрос председатель.

Теперь мне стало ясно, что он совсем не суровый, не равнодушный, каким показался с первого взгляда. Не принимая ничью сторону, он старался быть справедливым.

Анна Ивановна, лицо которой внезапно покрылось розовыми пятнами, обстоятельно рассказала о том, что дозу снотворной смеси она применила обычную. Ухудшения состояния от этого не могло быть. Вероятнее всего, объясняла Анна Ивановна, шок произошел вследствие повышенной чувствительности организма на введение лекарственного препарата. Однако это нельзя было предусмотреть, что также полагают и эксперты и среди здоровых встречаются люди с чрезмерно повышенной реакцией на те или иные лекарственные вещества.

— Вот все, что я могу сказать.

Когда Анна Ивановна закончила, председатель едва заметно кивнул головой.

Начались выступления. Первым попросил слово член комиссии профессор Ф. Он говорил складно, научно и как будто возражал против новых методов лечения. «Но почему он не говорит по-русски? — думала я. — Почему он

употребляет так много специальных терминов: «сенсibilизация», «аллергия», «акнезия», «аутизм»?» В зале присутствовали не только врачи, но и медицинские сестры, санитарки, которые, наверно, ничего не поняли из речи, пересыпанной латинскими и для многих непонятными терминами. Профессор закончил свое выступление призывом к крайней осторожности в применении таких методов лечения, которые не дают абсолютной уверенности в их полноте.

Произнес речь и доктор медицинских наук Г. Он представлял, по-видимому, ту часть комиссии, которая не соглашалась с отсталой позицией профессора и его сторонников. Выступал он горячо и моментами захватывал аудиторию, особенно когда говорил о советских женщинах-героинях, разделяющих труд наравне с мужчинами. Но становилось все досаднее, почему он говорит преимущественно о личности Анны Ивановны вместо того, чтобы говорить о том, что составляет предмет спора? Не потому ли, что сам он не очень уверен в занятой им позиции и опасается, как бы чего не вышло, если ветер подует в другую сторону? Неужели он не понимает, что главное здесь не только обсуждение поведения врача Миронсой, но большой принципиальный спор между новым и старым?

Медицинская сестра горячо заверяла собрание, что более внимательного врача, чем Анна Ивановна, она в течение двадцатилетней практики не встречала.

Престарелый профессор Ф. с розовыми щечками и с волосами «щетинкой» сказал, что с его больными ничего подобного не могло произойти потому, что в своей практике он доверяет не лекарствам, а природе, которая «лечит или не лечит, а свое, батенька, возьмет».

Доцент П. заявил, что он категорически отказывается верить в ошибку Мироновой, которая часто приглашала его на консультации и всегда очень считалась с его мнением.

Взволнованная, почти не отдавая себе отчета в том, что буду делать дальше, я стала писать записку: «Товарищ председатель! Мне кажется, никто еще не сказал самого главного. Дайте мне слово. Я психиатр и постараюсь осветить некоторые стороны. Возможно, это внесет необходимую ясность...»

Но в тот самый момент, когда я собиралась отослать записку, было объявлено, что слово предоставляется про-

фессору Р. Записка осталась у меня зажатой в руке. Я поняла, что взяла на себя слишком много.

Справа от меня поднялся с места высокий седой человек с близорукими глазами. Это был профессор-психиатр, долгое время работавший на севере, а последние годы в той же больнице, что и Анна Ивановна. Все пристально смотрели на него. Профессор Р. густо покраснел и носовым платком протер запотевшие очки. Я заметила грустный, немного удивленный взгляд Анны Ивановны.

— Товарищи! — неожиданно громко сказал Р. — Я решил выступить потому, что никто не пытался по-настоящему разобраться в поступке врача Мироновой и в мотивах ее действия. — Он кашлянул и продолжал: — Двадцать лет проработала Анна Ивановна на врачебном посту. Мы, психиатры, хорошо понимаем, что это были двадцать очень трудных лет. Не все это понимают. Работу врачей люди видят со стороны. Они не могут поэтому знать, что значит ежедневно, ежечасно отвечать за здоровье и жизнь человека. — Профессор снял очки и снова их надел. — Попытаюсь объяснить это так, чтобы все могли на минуту поставить себя на место врача Мироновой, посмотреть ее глазами, пережить то, что она переживает, применяя новые действенные методы лечения. Может быть, тогда в другом свете вы увидите ту «преступную халатность», в которой сегодня обвиняют Анну Ивановну. — Он взглянул на нее и продолжал: — Есть психические болезни, которые очень трудно, а иногда невозможно лечить обычными средствами — покоем. Бывают случаи, когда требуется активное вмешательство в деятельность организма. Нужна перестройка обмена веществ, вегетативных процессов, мобилизация всех защитных средств организма. Применение снотворных средств или их смесей вызывает длительный сон. Основа этого лечения разработана великим русским физиологом Иваном Петровичем Павловым. Он доказал, что сон есть не что иное, как нормальное физиологическое охранительное торможение клеток головного мозга. Сон охраняет нервные клетки мозга от переутомления и болезненного состояния. Со стороны все выглядит просто. Врач тщательно подготавливает организм больного и затем дает ему снотворное лекарство в строго определенной пропорции, установленной для больных такого-то веса при такой-то форме болезни.

А будет ли одинаков результат? К сожалению, нет.

В одном случае сон наступает не сразу, и мы имеем, наоборот, возбуждение с тревогой и страхами; в другом — наступает благодетельный длительный сон. Иногда — редко, очень редко — может наступить паралич дыхания и смерть. И это бывает, товарищи, даже при самом внимательном изучении организма больного. Тончайший механизм работы нервной системы одного больного отличается от другого, как отпечатки пальцев разных людей. Наука еще не изучила до конца этих сложнейших реакций человеческого организма. Так что же? Отказаться наотрез от применения активного метода лечения? Оставить больных без помощи, обречь их на жалкую жизнь, жизнь, в буквальном значении слова лишенную всякого смысла? И ради чего? Из опасения встретить одного, у которого будет необычная, может быть, бурная реакция на введение лекарственного вещества?

Некоторые врачи так и поступают. Они прописывают менее эффективные, но зато безобидные средства лечения. Может быть, они и правы? Невольно приходится задуматься, применяя новый метод лечения, а не произойдет ли осложнение и надо ли так активно вмешиваться? Ведь иногда бывают и такие случаи, когда лучше создать больному только покой, и это его исцелит. Обо всем следует подумать врачу.

Профессор помолчал и громко спросил:

— А кто из вас задал вопрос, ради чего, собственно, врач Миронова пошла на этот риск? Ведь она тоже могла все свести к ваннам и обычным лекарственным средствам. Никому не пришло бы в голову обвинять ее в ухудшении состояния больной. А в данном случае неудача грозила врачу страшной карой, успех не сулил бы ей лично никакой награды. Впрочем, это неверно! Конечно, она ждала награды и ради нее рисковала всем своим благополучием. Ради этой награды стоит рисковать. Эта награда — возрожденное здоровье больного!

Все нервы напрягаются, когда следишь за малейшими симптомами начинающегося искусственного сна. Вот возбужденный больной после приема снотворного быстро и спокойно засыпает. Неистовый человек начинает дышать ровно и глубоко. Сон делается все глубже. А врач? Врач неотступно находится у постели больного. Врач знает, что длительный глубокий сон, подавляя возбуждение нервных клеток, вызывает в организме человека тончайшие измене-

ния в процессах обмена. Сон так глубок, что кажется, будто сердце замедляет работу, но пульс ровный, четкий. Еще секунда. Не дышит? Как медленно тянется время! Секунда, другая. И вот, наконец, больной вздохнул. И ты вздыхаешь вслед за ним — всей грудью, всем существом. И будто крылья вырастают за плечами, так легко тебе становится.

Сон перестроил весь организм больного. Беспомощный человек снова возвращается к жизни, чтобы жить, любить, работать вместе с другими людьми. Ты смотришь на него, и он тебе в эту минуту дороже всего на свете, потому что это ты дал ему новую жизнь, как мать ребенку.

Вот, товарищи, награда, которую ждала Анна Иванова и ради которой рисковала. А осложнение у больной произошло от вполне определенной причины, которой, к сожалению, мы еще не знаем, но рано или поздно будем знать. Тогда подобных случаев больше не будет. А знать мы будем, обязательно будем!

Теперь голос профессора звучал особенно громко:

— Так скажите, справедливо ли обвинять врача Миронову в преступной халатности? Нет! Думаю, что и присутствующие придут к этому выводу. Не осуждения, а благодарности заслуживает врач Миронова. Советским психиатром руководила поистине большая любовь к больному!

Когда профессор Р. кончил свою речь, в зале поднялся невообразимый шум. Председатель долго звонил.

— Товарищи! Объявляется перерыв!

Не помню, как это случилось, но я с удивлением увидела, что нахожусь у двери, в самой гуще людей, а какая-то сухонькая старушка тянет за рукав покрасневшего профессора Р. и со слезами умоляет:

— Простите меня, поспешила я, старая, с заявлением...

Профессор, видимо, не мог понять, что собственно ей нужно, растерянно и сердито отмахивался, уверяя, что он здесь ни при чем.

— К ней идите! — неожиданно сурово буркнул профессор Р., указав на Анну Ивановну, и скрылся за дверью.

Не в силах справиться с охватившим меня радостным волнением, я направилась к выходу.

Как может быть счастлив советский специалист, которого в горькую минуту незаслуженной обиды Родина ободрила горячим напутствием: «Дерзай, твори!».

С этого дня я твердо пошла по избранному пути.

ЧЬЯ ВИНА?

Ему было лет тридцать. Большие голубые глаза, чистый лоб, рыжие борода и усы. Кроткое выражение лица. Первое, что я от него услышала:

— Доктор, перед вами неизлечимо больной.

Я собралась возразить, но он перебил меня:

— Да, да. Это так. Я много читал по психиатрии. Мне известна система наследственности Менделя, психоанализ Фрейда, концепция Крепелина о раннем слабоумии. Вынужден утверждать, что схожу с ума.

— Давайте сначала выясним, что вас беспокоит, а выводы сделаем потом.

— Меня очень тревожит сердце. Имеются налицо все симптомы порока... Посмотрите, какой неровный у меня пульс...

Я нащупала несколько учащенный пульс больного.

Смущенно, сбивчиво, то и дело повторяя: «Что тратить на меня время?», больной рассказал о своей жизни и прежде всего остановился на наследственности.

Оказалось, что родители его были людьми здоровыми, но тетка со стороны отца иногда странно себя вела, а дядя со стороны матери покончил жизнь самоубийством.

В детстве он перенес много инфекционных болезней. Единственный ребенок в семье, он был постоянно предметом тревог и опасений. Мать, любившая сына больше всего на свете, буквально теряла голову при малейшем его недомогании. В присутствии ребенка разгорались ожесточенные споры с отцом о его здоровье. Потом сына вели к равнине, чтобы он помолился и снял с него хворь. На улице мальчишки дразнили его трусом и часто избивали как более слабого.

Так начал складываться характер Якова Юдина. Несмотря на слабое здоровье, он с отличием окончил среднюю школу и затем педагогический институт. В одной из загородных школ начал работать педагогом. Однажды заболел аппендицитом, был благополучно оперирован и стал выздоравливать. Его сосед по палате после такой же операции умер. Происшествие потрясло Юдина, он долго находился под впечатлением смерти человека.

Во время обхода врач, пощупав его пульс, покачал с сомнением головой и таинственно, как показалось Юдину, сказал медицинской сестре:

— Сделайте этому больному инъекцию камфары. У него немного зашалило сердечко.

После укола Юдину стало еще хуже, он решил, что с сердцем у него очень плохо. Украдкой нащупывал пульс, и ему казалось, что тело его холодеет.

Через несколько дней хирург заключил:

— Швы хорошо зажили, вам можно выписаться.

— Что вы! Я совсем больной...

Потребовалось еще несколько дней, чтобы развеять сомнения Юдина, которые посеял неосторожной фразой врач. Даже после выписки из больницы сомнения долго еще беспокоили оперированного.

Ранней весной он заболел тяжелым гриппом. После болезни была слабость и сердцебиение.

Врач-терапевт, к которому Юдин обратился, внимательно выслушал его, постучал молоточком и внушительно сказал:

— Надо полагать, у вас небольшое осложнение после гриппа.

— Порок сердца?

— Нет, просто нерезкая тахикардия.

И хотя тахикардия — не больше чем учащенное сердцебиение, все-таки педагог вышел из поликлиники в полном смятении. Сердце билось, как никогда, щемило и ныло. Казалось, что в любую минуту может наступить смерть. А хотелось жить, жить!

«У меня определенно порок сердца. Врач скрыл от меня опасность», — думал Юдин.

Он уже чувствовал все симптомы порока сердца, вычитанные им из терапевтического справочника. Теперь мысли о больном сердце вытеснили все.

Начал упорно лечиться. Врачи выписывали рецепты на различные сердечные средства. Иногда высказывали неясные фразы, свое мнение, рассуждали, сомневались.

Так прошла зима, полная страхов, отчаяния, медицинских обследований. Только работа в коллективе отгоняла дурные мысли, успокаивала, бодрила.

Вскоре Юдин подружился с новой учительницей. Молодая женщина полюбила молчаливого, скромного человека. И к нему пришла любовь, пришла в момент, когда он уже не ждал от жизни ничего хорошего. Внимание женщины и дружеская чуткость нашли в нем живой благодарный отклик. Любовь — большой стимул. Юдин много и хорошо работал, писал книгу о принципах воспитания детей и чувствовал себя неотделимой частью советского коллектива.

Однажды на очередном приеме Юдин сознался, что не все из своей жизни рассказал, и передал мне дневник. Я прочла его в тот же день.

Вот этот дневник.

15 сентября. Наркомпрос наградил меня значком отличника.

20 сентября. В школе меня чествовали. Я так разволновался и расстроился, что не могу писать. Вчера был в районо. Там в стенной газете, в красной рамке, наряду с другими отличниками, выставлена и моя страшная рожа. Очень смешно и радостно. Какие хорошие люди окружают меня!

22 сентября. Лучшим лекарством является работа, а не порошки и микстура. Все эти дни много работал. Устал, но доволен и чувствую себя прекрасно. Сегодня совсем не болело сердце. Очевидно, работа в коллективе действует благотворно. Работа — это главное. Но какие нелепые у меня желания! Шел мимо какого-то киоска и подумал — зацеплю его локтем, и пока этого не сделал, не успокоился. Ну, чем я не сумасшедший?

23 сентября. Весь вечер просидел у Аннушки. Как с нею хорошо, какой чудесный человек! И подумать смешно — в тридцать пять лет жених! Как горд я и счастлив! Одолевает глупое желание — всем разболтать о своем счастье. Всем не стоит, но Артемьеву скажу. Он самый близкий мне товарищ и отличный, сердечный человек.

25 сентября. Не вытерпел. Сегодня рассказал Артемьеву о своей жениховской миссии. Он искренне был рад, поздравил меня и сказал: «Ну, что же, если у тебя „все в порядке“, то женитьбу надо приветствовать...» Все вре-



мя думаю над этой фразой... О чем он, собственно, говорит? Надо было спросить, а я постеснялся.

30 сентября. Не выходит из головы мысль — все ли у меня в порядке? Конечно, Артемьев прав. Это в браке важно и над этим стоит призадуматься. А вдруг я?... И весьма возможно, что у меня не все в порядке...

1 октября. Не повезло. Заболел перед самой свадьбой. Лежу. Температура 39°. Писать не могу.

3 октября. Снова поднялась температура. Но по анализу крови все выяснилось. Обнаружена малярия. Треплет регулярно через день. Врачи закормили акрихином.

15 ноября. Сегодня приступа уже нет. Трепало четыре раза. Победа за акрихином. Едва передвигаю ноги. Слабость, головокружение. Похож на перезрелый лимон. Аннушка целует меня в небритую щетину и уверяет, что если бы Аполлон Бельведерский дожил до возраста, когда растет борода, то, несомненно, он был бы похож на меня. Аннушка, милая, но ведь я урод... Впрочем, может быть, она права. Я от любви поглупел.

17 ноября. Моя несостоятельность доказана. Бедная Аннушка! Сама плачет, а старается меня успокоить. Говорит: «Это после болезни, родной, все пройдет...» Но я-то знаю, что не пройдет! Какое отчаяние!..

18 ноября. Опять нет сна, страх. Едва работаю. Нервы напряжены до крайности. Я замкнулся, отошел от людей,

от коллектива... Страшно одному. Понимаю, что в высшей степени глупо думать об этом. Готов сам себя избить, но от своих липких мыслей избавиться не могу.

20 ноября. Был у частного врача-уролога. Врач не верит, сомневается, а хочет, чтобы я, больной, верил и надеялся. Он сказал: «Это, возможно, наследственная органическая недостаточность. Лечиться надо очень долго...» Странно, врач совсем не обратил внимания на малярию. Ведь я ослаб после нее. Но вот наследственное — дело не поправимое...

26 ноября. Все продумал. Познакомился с законами наследственности по разным книгам. Много непонятного, но вывод один: наследственность не перешибешь. Для меня странно только одно... Почему у моих родителей было все благополучно, а я, как объясняет мне врач, больной «наследственный».

30 ноября. Не сплю. Ничего не ем. Болен. Неизлечимо болен. Психиатр районной поликлиники выдал бюллетень и дал мне в конверте путевку в больницу. Я не выдержал, распечатал и прочел: «Диагноз — шизофренный синдром? Аутичен (избегает общения с людьми), безразличен к работе, фиксирован на своих переживаниях, скрывает от окружающих свое состояние. В роду — странное поведение у тетки и самоубийство в 1905 году брата матери».

«Доктор, вы правы! У меня доказанная наследственная болезнь. Я — аутичный. Ушел от коллектива чудесных людей. Не могу, не хочу никого видеть. Тяжело от расспросов и заботы людей. И я действительно скрываю от всех свое состояние. Только в одном вы не разобрались. Увы! Все, что я чувствую, это не бред, это действительность...»

2 декабря. На улице хмуро и холодно. Я не спал всю ночь, читал о шизофрении. На рассвете прикорнул. Проснулся от страшного сердцебиения. Попробовал выйти на улицу, но люди показались мне автоматами. Голова моя была очень тяжелой. Глазами я видел все, но это «все» уже не вызывало во мне никаких чувств, было для меня как бы нереальным. Разум мой понимал, что это болезненные мысли извратили мои чувства, сделали меня глупым, но эти же мысли как будто бы и свидетельствуют, что иначе быть не может у человека «с наследственностью». Страшная тяжесть головы не допускает критических мыслей. Избегаю движений, так как боюсь, что они совсем истощат силы. Боюсь всего, охватывает животный страх. Цепенею,

но понимаю — жизнь меня не ждет, а бурно стремится вперед. Смерть, только смерть может избавить меня от мучительного страха.

На внутренней стороне обложки дневника было написано: «Немыслимо жить под вечным гнетом наследственных болезней. Еще ужаснее чувствовать прижизненное умирание (сумасшествие). Психиатр написал: „шизофренический синдром“ под вопросом. Понимаю это как „шизофрению“ — болезнь, которая, как мне известно из теории о наследственности, передается по рецессивной, то есть боковой, линии — племянник наследует болезнь дяди или теток. Я так любил жизнь и людей! Как тяжело мне с этим расставаться. Но разве можно продолжать жизнь человеку, неполноценному во всех отношениях...»

В эту ночь Юдин пытался покончить жизнь самоубийством. Окружающие его люди не дали ему умереть.

Зачем уролог, желая показать свою ученость, рассказал этому особо впечатлительному больному о «наследственной органической недостаточности», в которой, видимо, и сам не разобрался? Зачем врач выдал больному на руки документы с поспешным предположительным диагнозом? А ведь ясно было только одно — это человек слабого типа нервной системы и отсюда его постоянное ощущение неполноты жизни, утрата чувства реального, бесплодное умствование.

Один из **виднейших** русских врачей-психиатров П. Б. Ганнушкин очень точно описывает состояние таких людей:

«Основными их чертами являются крайняя нерешительность, боязливость и постоянная склонность к сомнениям. Они чрезвычайно впечатлительны и притом не только к тому, что кругом них в данную минуту происходит, но и еще более к тому, что, по их мнению, может случиться...» «...психастеник боится за себя самого, за то будущее, которое его ожидает и которое он рисует себе мрачными красками, боится за все свое физическое и психическое здоровье...» «...постоянные тревоги, опасения, беспокойство — вот что наполняет его жизнь...»

История болезни Юдина — жестокий урок для врача, суровое напоминание о том, что скороспелость суждений, излишний апломб, отсутствие такта, чуткости могут убить больного в буквальном смысле слова. Как потом оправдаться врачу перед самим собой, перед народом.

Мы не знаем, почему тетка учителя «странно себя вела». Можно сомневаться, было ли психическое расстройство у его дяди, если, как выяснилось, он покончил жизнь самоубийством после зверств и дикого разгула еврейского погрома. И не вернее ли предположить, что причиной его трагедии была гибель близких людей, бесперспективность человеческого существования в дореволюционное время?... Этого мы не знаем!

Взгляд на наследственность, как на нечто непреодолимое, не зависящее от наших усилий, был в какой-то степени привит и мне в школьные и студенческие годы. Понадобился постоянный анализ своей работы, изучение философских и медицинских трудов, чтобы научиться правильно понимать эти вопросы.

И. П. Павловым и его учениками на экспериментальных фактах доказано, что именно внешняя среда направляет и изменяет живой организм. И. В. Мичурин показал, что приобретенные в течение жизни организма признаки могут передаваться по наследству в поколения.

Значит, наследственность не есть что-то неизменное: она сама изменяется. Многие **зависит** от внешнего мира, от **окружающей жизни**, от всего того, что Павлов называл «Госпожа действительность». Эта всемогущая «Госпожа действительность» наглядно показывает, что слишком часто и не всегда справедливо мы вваливали на терпеливые плечи наследственности многое из того, в чем она не виновата.

В психологическом очерке «Вукол» Н. Г. Псмяловский сопровождает рождение своего героя такими сомнениями:

«Будет ли он умен, добр, счастлив? — бог знает!... Станут бить его по голове — вырастет дураком, хотя бы и не родился им; будет воспитывать танцмейстер — выйдет из него кукла; кормят на краденые деньги — отзовется и это. Трудно показать и объяснить влияние внешних обстоятельств на голову и сердце человека...

...Бог знает, какое влияние имеет на ребенка глупая рожа няни, физиономия папаши, часто с отсутствием образа божия, грязная соска, табачный запах, визг и слезы братцев и сестриц и тому подобные буколические обстоятельства, на которые чадолюбивые и сердобольные родители, домовладыки и цари семейств часто не обращают никакого внимания. Все это, без сомнения, уродует человека».

Широта и глубина представлений писателя о влиянии среды на развитие человеческого организма поистине поразительны.

Несколько лет назад пришел ко мне один больной и мрачно сообщил:

— У меня рак желудка, только об этом не говорят врачи...

— Из чего вы это заключили?

— Я был у рентгенолога...

— И что же?

— В моем присутствии рентгенолог сообщил лечащему врачу, что у меня желудок в форме крючка. Мне стало ясно, что начинается рак... Иначе почему бы желудку быть в форме крючка? Значит, произошло сужение... Вот уже год я болею. Мне трудно глотать...

Я отправила больного на просвечивание желудка и, убедившись в его полном здоровье, разъяснила мнительному человеку, что нормальный желудок всегда имеет форму крючка. Он ушел. Но я так и не знаю, что, в конце концов, оказало на него большое влияние: ложное представление, явившееся следствием неосторожной фразы в присутствии мнительного человека, или мое стремление разуверить больного в его заблуждении.

Юдин продолжал жаловаться на боли в сердце. Я предложила ему просветить сердце рентгеновыми лучами. Это был прием, на который я надеялась. Рентгенолог написал именно то, что было в действительности: «границы сердца в пределах нормы, сердце каплевидное, патологических изменений, указывающих на заболевание, нет».

Все последующие дни Юдин часто заглядывал ко мне в кабинет. Он уже не чувствовал сердцебиения и радостно удивлялся этому. Правда, некоторое время его смущал термин «каплевидное сердце», но я разъяснила, что это определяет только форму и величину сердца, а не какую-нибудь болезнь. Хорошее питание, покой, укрепляющие нервную систему медикаменты сделали свое дело. У больного резко улучшился состав крови, он хорошо спал и чувствовал, — на этот раз правильно, — что выздоравливает.

Когда, наконец, мне удалось доказать Юдину, что состояние его здоровья, особенно сердце, ничего опасного не предвещает, остался один враг — самовнушение больного относительно наследственности.

Еще в студенческие времена я познакомилась с идеалистическим учением Фрейда. Он начертил следующую схему психики: верхний слой — это сознание, наше собственное «Я». Ниже находится слой подсознательного, то есть фактов, сведений, воспоминаний. Еще ниже — слой бессознательного. Это инстинкты и стремления, страсти. По толкованию Фрейда самым важным в психике является нижний слой — бессознательного, и в нем заложены «инстинкты жизни» и «инстинкты смерти», все асоциальное, аморальное, хаотичное, бессознательное, возбуждаемое только сексуальными инстинктами. Эта область грязных мыслей, по утверждению Фрейда, не зависит от влияния общества, социальных сил внешней среды и даже неподвластна сознательному «Я».

Теория Фрейда не научна. Она ведет к туманным и ошибочным выводам, к антигуманным политическим последствиям. Говоря, что насилие свойственно человеческой природе, Фрейд оправдывает войны и эксплуатацию. Если, по Фрейду, человеческая природа неизменна, то и общество тоже никогда не изменяется или не должно меняться, оно непознаваемо, как непознаваем и сам человек. Инстинкты и влечения — вот всемогущая сила, определяющая не только поведение человека, но и социальную историю общества.

Однако с первых шагов моей практической деятельности на врачебном поприще «Психоанализ» Фрейда потерпел крах. Это было только началом дальнейших фрейдистских поражений. Они определялись почти каждодневно в общении с больными, в самой обыкновенной амбулатории — диспансере, куда может зайти любой человек. Разве может быть жизненной теория, которая утверждает в человеке не любовь к жизни, а стремление к смерти, как этому учит Фрейд, уверяя, что «смыслом жизни является смерть», а воля человека находится во власти темных сексуальных инстинктов, будто одолевающих его с рождения, как злой рок.

К счастью для человеческого прогресса, Павлов опрокинул эти вредные теории. Он доказал, что верховным управлением человеческого организма являются не темные инстинкты, а высшая нервная деятельность, непрерывно взаимодействующая с условиями внешней среды, зависящая от нее.

Теория Фрейда вредна и опасна. Она внушает больным и здоровым безысходность, предопределенность «темных влечений».

Однако в то время, когда ко мне впервые обратился Юдин, я еще по-настоящему не понимала неправильной, вредной сущности фрейдизма. Тогда у меня был по существу только собственный, еще небольшой опыт практического врача. Но и он уже подсказывал мне, что в возникновении «психических ощущений» Юдина большую роль сыграл слабый тип нервной системы, выраженные черты тревожно-мнительного характера, обязанные своим развитием воспитанию и условиям жизни. И в этом случае психотерапия помогла здоровью моего пациента.

Теперь, когда прошло много лет, стало понятно, что не следовало в мнительном человеке так упорно искать «темные инстинкты». Хорошо, что мне удалось нащупать правильное решение, которое помогло больному. Юдин выздоровел и, как мне стало известно, женился на милой хорошей женщине.

Однажды в Большом театре во время антракта я обратила внимание на одну пару. Это оказался мой бывший больной с женой. Я спустилась из бельэтажа в партер, чтобы выразить ему чувство радости. Но произошло нечто странное. Посмотрев мне в лицо, Юдин не только не поздоровался со мной, но даже отвел глаза в сторону. Не поздоровалась и я.

Когда публика уселась на места, лицо Юдина все еще выражало растерянность. Он несколько раз оглядывался по сторонам, видимо, искал меня. Его покой был нарушен. Может быть, он раскаивался?

Неприятное чувство, вызванное этой встречей, долго не покидало меня. Неблагодарность всегда обижает. Но это было совсем другое. Он, видимо, боялся снова пережить прошлое.

Вспомнился другой случай, происшедший в доме, где живет моя знакомая.

Многоэтажное здание — бывшая гостиница с коридорной системой — вмещает около тысячи жильцов. Среди них недавно овдовевший инженер Н., химик одного крупного завода. От тяжелых переживаний и переутомления инженер заболел. Начались головные боли, бессонница, угнетенное настроение.

Ухаживать за ним было некому. Друзья поместили его в санаторное отделение нервно-психиатрической больницы. Месяца через два инженер вышел оттуда совершенно здоровым и вновь отдался любимой работе.

Инженеру приходилось по утрам, перед выходом на работу, и вечерами, когда он возвращался, самому готовить себе еду на коммунальной кухне. Так продолжалось и после возвращения из больницы. Но тут он с удивлением заметил, что прежняя доброжелательность к нему со стороны соседей сменилась откровенно враждебным отношением. Он не придавал этому серьезного значения, пока на кухне не разразился скандал. Одна из соседок на глазах инженера демонстративно переставила его чайник подальше от своей газовой конфорки, на которой поджаривалась колбаса. Инженер миролюбиво спросил, почему она так сделала?

Она ответила:

— С психом не желаю разговаривать!

Инженер сбавил ее «глупой и вздорной бабой». Поднялся шум. Вышел супруг соседки, который заявил, что, по-видимому, психиатрические больницы не находятся на должной высоте, если выпускают на свободу людей до их выздоровления, о чем он судит по «буйному поведению» инженера.

В конечном итоге отношения с соседями так обострились, что сглаживать их пришлось психиатру.

У нас еще широко бытует неправильный, ложный взгляд на человека, лечившегося в психиатрической больнице. Слова «он был в психиатрической больнице» произносятся особым тоном.

Пребывание в психиатрической больнице считается каким-то «пятном» в биографии, которое долго не могут забыть окружающие люди, а потому и сам больной. Вот причина невежливости моего бывшего больного. Он воздержался от приветствия. Ему казалось, что если он поздоровается с врачом-психиатром, то все его знакомые поймут, что он «был сумасшедшим».

А разве не бывает так: придет человек из больницы, в которой лечат нервы и психику, а люди в быту и на работе, смотришь, вдруг ни с того ни с сего, изменили доброе отношение к человеку.

«СИМУЛЯНТ» СКОНЧАЛСЯ

Старший врач Иван Сергеевич Бронников после работы не спешил домой. Он узнал, что я дежурю, пришел ко мне в приемный покой выкурить трубку и «покалякать», как он говорил.

В полумраке комнаты медленно плыли, незаметно рассеиваясь, туманные колечки. Иван Сергеевич продолжал говорить и дымить своей трубкой.

— Было это еще до революции... Я тогда служил ординатором в госпитале. Сижу однажды в кабинете и думаю: «Какой я хороший врач, как ловко выявил сегодня симулянта... Мало сказать „выявил“, но еще и отчитал по пятое число, чтобы неповадно было симулировать...». Только я закурил и начал пускать кольца, а пускал я их замечательно, входит фельдшер, бледный такой, губы дрожат... Вытянулся «во фронт», отдал честь и отпрапортовал:

— Ваше благородие, симулянт скончался!

— Как! — вскочил я. — Не может быть!

— В сарае на балке висит, ваше благородие.

Иван Сергеевич пустил одно из своих замечательных колец.

— А не угодно ли вам послушать еще более поучительный случай? — не давая мне опомниться, предложил Иван Сергеевич.

— Пожалуйста, — ответила я, чувствуя, как по спине у меня забегали мурашки.

— Должен вам сказать, что ошибки в нашей практике имеют место и не всегда забываются... — Иван Сергеевич поудобнее сел, продолжая дымить своей трубкой.

— Было это незадолго до Великой Октябрьской революции в бытность мою дежурным врачом здесь, в бывшей

Преображенской, а теперь, — он указал на стены кабинета, — Первой московской психиатрической больнице. Достали сюда кассиршу из магазина Филиппова. Надо вам заметить, что прежде в целой России таких калачей не пекли, как у Филиппова... пальчики оближешь... — Старый доктор выдохнул целое облако дыма и задумался. — Так вот, извольте слушать дальше. Сидела эта кассирша в приемной с блуждающим рассеянным взглядом, была бледна и говорила, что у нее во всем теле боли и начинается паралич. Выяснил я, что кассирша — вдова, сорока одного года, ее отец умер от алкоголизма, а сама она заболела после того, как была обнаружена недостача денег в кассе. — Иван Сергеевич отложил трубку и медленно стал крутить свои пушистые усы. — Надо вам сказать, что заболевание показалось мне интересным, да и сама больная была красоты редкой... Смоляные косы, большие черные глаза. Только раз в жизни видел я подобную женщину, — не то мечтательно, не то с сожалением заметил Иван Сергеевич И уже перешел на тон беспристрастного рассказчика.

— Ввиду особенности заболевания ординатор через некоторое время демонстрировал больную на научной конференции врачей и профессоров. Из истории болезни и полученных объективных сведений стало известно, что эта женщина прежде была здорова. Месяц тому назад из ее квартиры исчезла, а через некоторое время возвратилась ее кошка.

Она почему-то была беспокойна, укусила и поцарапала хозяйку и, снова исчезнув, уже больше не возвращалась. После этого случая у кассирши наблюдалось небольшое повышение температуры и, как говорили соседи, «грусть о домашнем друге» — о пропавшей кошке.

Больная была человеком общительным, жизнерадостным и заболела сразу после обнаруженной у нее в кассе недостачи денег. Конечно, при желании кассирша покрыла бы эту недостачу из своего жалованья в три-четыре месяца, но, видимо, она опасалась хозяина магазина. Все казалось ясным... Красивая, веселая вдова любит погулять и тратит денег больше, чем зарабатывает...

— А как она себя вела на конференции? — перебила я.

— Как и надо было ожидать! Вошла медленно, тяжело, словно на ногах у нее были гири.

«Почему вы так ходите»? — спросил ее профессор.

— У меня па-па-ра-ли-зованы но-ги.

— Но мне известно, что невропатолог не нашел никаких органических отклонений, которые свидетельствовали бы о параличе.

— Я не знаю.

— Что же вас беспокоит? Чем вы больны?

— Мен-я уку-куси-ла мо-мая сиби-ир-ская кошка и теперь сердце сильно бьется.

— Должен я вам сказать, — продолжал Иван Сергеевич, — что кассирша каждый раз производила на меня другое впечатление. Вот она вдруг выкатила глаза и, с трудом глотая воздух, прижала руки к груди.

— Выпейте воды! — предложил профессор.

— Не... Не... могу...

— Выпейте!

Больная взяла в руки стакан и попробовала сделать глоток. Я увидел, как она покраснела, словно ее душили спазмы, и с видимым страхом поставила стакан на стол.

— Не могу... Вот... опять начинается, — сказала она невнятно и, что делают иногда истеричные и симулянты, стала гаращить глаза и в яростном возбуждении, как бы страшась чего-то, рванулась к двери, но была удержана сестрой.

— Какое сейчас время года? — спросил профессор, указывая на зеленые деревья цветущей черемухи.

Больная ответила, медленно растягивая слова, совсем как тяжелобольная:

— Не... не... знаю... лето или зи-зи-ма?

— А сколько у вас пальцев на правой руке?

Она медленно пересчитала пальцы и сказала:

— Пять

— А на левой?

— Два.

— Всего, значит, семь?

— Да.

— Интересно, как это вы работаете кассиршей?

— Не зна-аю, — коротко ответила больная и вдруг, судорожно вытянувшись, что-то невнятно и быстро залепетала.

Обращала на себя внимание и речь больной. Говорила она как бы заикаясь, заплетающимся языком. После демонстрации кассиршу увели.

— Ну, а что же потом произошло?

— Вот самое любопытное и произошло потом. Больную увели, а среди врачей разгорелись страсти.

Иван Сергеевич сбросил часть пепла из трубки.

— Одни считали ее истеричкой с симулятивным поведением, утверждали, что она боится ответственности. При этом ссылались на то, что объективные исследования и результаты анализов не показали никакого органического заболевания центральной нервной системы. Что же касается плохого сна, ослабленного аппетита, сердцебиения и легкой одышки, то это считали незначительным функциональным нарушением нервной системы, которое может быть при любой реакции на неблагоприятную житейскую ситуацию.

— И никто не подумал о другом?

— Нет, были и такие, которые предполагали бешенство. Они считали укус кошки и внезапное ее исчезновение обстоятельствами, заслуживающими внимания, как и то, что у больной появилось небольшое повышение температуры и нервные симптомы через месяц — срок, весьма подходящий для инкубационного (скрытого) периода бешенства. Сторонники этого диагноза указывали также на судорожные явления, особенно водобоязнь и ряд других симптомов... Больную смотрело много врачей.

— А она?

Иван Сергеевич втянул струю дыма и не сразу ответил.

— Больная? Она впала в неистовство и скоро умерла... Анатомическое вскрытие показало специфическое поражение мозга, какое наблюдается только при бешенстве.

Формально виновных среди нас, врачей, не было. Известно, что все случаи бешенства смертельны, если не проделаны профилактические прививки. В те времена пастеровские станции были уже во всех крупных городах и обеспечивали стопроцентное излечение от бешенства. Следовало бы скорее винить кассиршу, которая не обратила должного внимания на укус кошки. Но что могли сделать психиатры, когда болезнь уже полностью раскрылась? Пастеровские прививки делать было поздно и, хотя их провели, они не смогли спасти больную.

— Несмотря на диагностический спор, основываясь хотя бы на подозрении, следовало скорее провести профилактические прививки против бешенства.

— Да, пожалуй. А главное, следовало гуманно относиться к больной. Ведь она все слышала... Должен вам сказать, что и сейчас еще встречаются врачи, которые по

одному какому-нибудь признаку и по создавшейся обстановке ищут симуляцию.

— Но ведь симулянты существуют?

— Конечно! Но один признак не есть сумма признаков!

Надо всегда ставить перед собой вопрос: почему человек симулирует? А вдруг он не просто негодяй, а запутавшийся, слабый человек? Может быть, он действительно болен?... Кстати, после смерти кассирши выяснилось, что никакой недостачи у нее не было, так как нашлись потерянные ею оправдательные документы.

Видите, как бывает... когда не больным дорожишь, а больше всего своим апломбом. Вот и вбежит тогда фельдшер и скажет: «Ваше благородие, симулянт скончался!»

ТЯЖЕЛОБОЛЬНАЯ

Передо мною сидел подтянутый, серьезный, уже немолодой профессор геологии. Лицо его было спячно, глаза смотрели печально. Он подробно рассказывал о болезни жены, по его словам, чрезвычайно тяжелой и мучительной.

— Это продолжается десять лет, — тихо закончил он рассказ, — и я ничего с ней не могу поделать.

— Дети у вас были? — спросила я.

— Нет, она все годы болела и не хотела иметь детей.

Посетитель встал и, собираясь уходить, сказал:

— Доктор, я хочу вас предупредить... Жена очень чувствительна. Малейшее невнимание к ней повлечет за собой целую бурю. Я прошу вас быть с ней особенно чуткой. Видите ли, мне надо немедленно и на продолжительный срок отправиться на Дальний Восток в геологическую экспедицию. К сожалению, выход один. Везти тяжелобольную в такую даль я не решаюсь. И вот не знаю, как она без меня привыкнет к больничной обстановке.

Я успокоила его, как могла, и он ушел.

Вечером произошло знакомство с новой больной.

Санитарки ввели, почти внесли ее в кабинет и, усадив в кресло, оставили нас вдвоем.

Располневшая, лет пятидесяти, с остатками былой красоты женщина томно откинулась на спинку стула, и я увидела белую, точеную шею.

— Тут... часто комок душит.. — больная дотронулась до горла рукой с отлично сделанным маникюром; даже лак на ногтях был особенный — малина с перламутром.

«Вот так тяжелобольная!» — Я заметила ее пышные, слегка подкрашенные хной волосы, искусно подведенные тушью ресницы.

Больная вела себя спокойно, но позы ее были неестественны и явно рассчитаны на эффект. То она сидела расслабленная, едва не падая с кресла, то вдруг, выпрямившись, с мольбой смотрела на меня светлыми, широко раскрытыми глазами и тихим голосом безнадежно говорила:

— Доктор, вы еще так молоды, а я уже столько видела горя! У меня на руках умер ребенок. Я столько перенесла от первого мужа...

Несколько слезинок скатились из-под ее ресниц, оставляя на лице ряд темных полосок.

— У вас на щеке размазалось что-то черное, — не без умысла сказала я, пристально наблюдая больную.

Между полосками расплывшейся туши выступили розовые пятна. Извинившись, больная попросила у меня зеркальце.

— Давно уже я не смотрелась в зеркало. Не до того, знаете, — заметила она вскользь.

Явная ложь вызвала у меня неприятное чувство. Но я знала, что врачу, особенно психиатру, необходимо владеть собой и потому говорила с больной спокойно и сдержанно.

Каждое слово, каждый жест ее были рассчитаны на зрителя. Произнеся фразу и приняв красивую позу, больная быстро взглядывала на меня, чтобы проверить, какое впечатление она производит. Я не удержалась и спросила, играла ли она когда-нибудь на сцене.

— Почему вдруг у вас возник такой вопрос? — удивилась моя собеседница и рассказала, что в молодости у нее находили большие артистические способности.

— Ах, всему помешала болезнь. Мне так плохо бывает... Как-то я вместе с мужем была в экспедиции и пережила что-то ужасное. Выйду погулять, устану и падаю. Несколько раз студенты мужа приносили меня на руках!

— Вероятно, вы не сдерживались или не могли?

— Как не сдерживалась?! — с обидой выкрикнула больная, считая мой вопрос упреком, и так разволновалась, что успокоить ее уже было невозможно.

Я позвонила. Больная, снова повиснув на руках санитарок, поволокла за собой ноги.



Через двадцать минут у нее произошел истерический припадок: выгибаясь дугой, грудью вперед, она закатывала глаза, выворачивала руки и билась в конвульсиях. Вслед за конвульсиями следовали рыдания и крики. Она кричала, что врач — это изверг, бесчувственный грубиян, а персонал — звери в халатах.

В течение следующего дня у больной было несколько истерических припадков по незначительным поводам. К вечеру она лежала без движения, совсем обессиленная, опухшая от слез. Так было и в течение последующих дней.

Наблюдая эту женщину, я видела, что цель у нее одна — привлечь к себе внимание окружающих. Ради этого она пользовалась любыми средствами. То принимала позу умирающей и, задыхаясь, стонала; то жаловалась на боли в печени, с плачем хватаясь за правый бок; порой с ужасом, разводя руками, шептала, что ослепла и ничего не видит. Когда все ее уловки были раскрыты с помощью всевозможных исследований и анализов, она в знак протеста против «произвола врача» отказалась от пищи. Она не ела два дня. Я было заколебалась, упрекнула себя в излишней строгости. На третью ночь во время дежурства, войдя неожиданно в палату, я застала ее за едой: торопливо и жадно она грызла шоколад и печенье. Я велела дежурной сестре отобрать весь продуктовый запас. Больная долго истерически плакала и после этого начала есть нормально.

— Как вы себя чувствуете? — спросила я ее однажды на обходе.

— Очень плохо, — жалобно простонала она.

— Многое зависит от вас.

— Если бы я могла, то освободилась бы от болезни без ваших врачебных рассуждений, — заметила больная, и я почувствовала, что она меня ненавидит, как только можно ненавидеть мучителя и тирана.

— Почему вы не ходите? — спросила я.

— У меня болят ноги.

— Давайте, я вас посмотрю...

— Нет, сегодня я не в состоянии.

— Хорошо... Когда вы почувствуете себя лучше, я вас посмотрю.

На следующий день больная с помощью санитарок пришла ко мне в кабинет. Я попросила снять чулки.

— Пожалуйста, помогите, доктор, — и она протянула мне ногу в чулке.

— Пожалуйста, сделайте это сами, — ответила я.

— Санитарка! — позвала жена профессора.

— Не надо! — предупредила я. — Все необходимое для себя вы должны делать сами.

— Это правило для здоровых, а не для больных. Меня всегда одевали и раздевали.

— Ваши руки совершенно здоровы, и вы с успехом можете это сделать сами. Попробуйте.

Охая, она, наконец, стянула чулок, и я увидела небольшую, слегка отечную ногу.

Выслушав сердце, я убедилась, что оно работает хорошо.

— Ваши отеки пройдут, как только вы начнете ходить.

— Прогноз приятный. Но все-таки я ходить не могу...

— Ваши ноги здоровы, и вы с настоящего момента должны ходить без посторонней помощи.

— Вы смеетесь, доктор!

— Совсем нет.

Эта изломанная женщина, истязаящая себя, мужа, близких, всех, кто с ней соприкасается, изленившаяся, эгоистичная, была мне глубоко антипатична. Каюсь, я забывала, что передо мной пациент с укоренившейся нервной болезнью, и видела только никчемного человека. Но надо было сделать усилие, и я его сделала.

— Поймите, — сказала я, — надо выздороветь. Многое зависит от вас. Такая болезнь развивается обычно незаметно и постепенно.

— Очень прошу, расскажите! — патетически воскликнула женщина.

— Представьте себе ребенка или взрослого человека со слабой, очень чувствительной нервной системой.

— А я, доктор, с детства безвольна и чувствительна.

— Предположим, что человек с таким слабым типом нервной системы попадает в строгую, трудную для него

обстановку... Долго себя сдерживает. Однажды под влиянием чрезвычайно страшного или тяжелого для него обстоятельства он срывается и тогда наступает разряд, нервный срыв, аффект в форме тяжелых нервных симптомов или припадков.

— Вы как в воду смотрите... — перебила меня она.

— Сначала человек как бы защищается от ситуации припадками, а затем и сам уже не может с ними справиться — они стали болезнью. В представлении человека это несчастье, навязавшееся извне, против которого воля бессильна, а в действительности он не смог по-настоящему со своей болезнью справиться. Нечто подобное, вероятно, происходит и с вами.

— Доктор, все это удивительная правда! Разрешите рассказать вам, как я росла и какое у меня было детство. Вы, наверно, пожалели бы меня, право.

— Я и сейчас жалею вас, поверьте, и охотно выслушаю. И мы вместе найдем причину ваших страданий и возможность от них избавиться.

Больная, усевшись поудобнее, просто и доверчиво рассказала мне о своей жизни.

— Как сейчас помню мрачную, сводчатую церковь, темные лики святых. Бывало, зажгут много свечей. Они тонкие, потрескивают, гнутся от жары, а я часами смотрю на них, прищурив глаза, и огоньки мне кажутся игрушечными звездами, как на елке.

Меня воспитывала тетка — сестра матери. Была она религиозна фанатически. Рассказывала мне о святых, об их мученическом конце и от меня, маленькой девочки, требовала великого терпения. И что удивительно, доктор, я искренне стремилась к подвижничеству, мечтала о спасении души. Как взрослая, я постилась весь великий пост; не ела в сочельник до первой звезды; выстаивала в страстной четверг все «великое стояние» во время чтения «двенадцати евангелий». Бывало, свинцом наливаются ноги, тошнит, в голове туман, но терплю изо всех сил...

Больная как будто с сожалением вздохнула.

— Я тогда была куда выносливее, чем теперь! Иногда становилось невмочь, но тетка взглянет, нахмурится, и я вскакиваю, начинаю креститься, класть земные поклоны — замаливаю свой грех.

Какими страшными вещами набита была моя голова! По вечерам тетка рассказывала мне о сатане, о его царстве,

о всяких соблазнах, которыми он совращает людей. Я слушала ее с волнением и страхом. И мне так ясно, отчетливо представлялось, как сплетники, подвешенные за языки, обжоры с вырезанной глоткой, неверующие извиваются, горят на медленном огне. Видела я самого сатану, черного, с кровавыми глазами, который протягивает к грешникам когтистые пальцы и хохочет над их мучениями. Или, закрыв глаза, представляла, как ночью по кладбищу бродят самоубийцы, которых не принимает без покаяния земля. И до того мне делалось страшно, что, бывало, и тетя уснет, а я никак не могу спать. Все всматриваюсь в темные углы комнаты, прислушиваюсь ко всякому шороху. Заскребет мышь под полом, ветер распахнет форточку — я глубоко зарываюсь в пуховые подушки. У нас их было много. Дядя был купцом и любил плотно покушать и поспать.

Однажды стою в церкви, смотрю на строгий лик святого. Свечи горят перед ним. Куда ни повернешь глаза, он все смотрит. Шла обедня, пели певчие. Вдруг тетка толкнула меня и сказала: «Клади земной поклон. Выносят святые таинства...»

И вдруг страшно, раздирающим душу голосом закричала какая-то женщина. Я прижалась к теткиному платью. «Молчи, молчи, крести рот... Закрещивай! Это кричит дьявол во чреве кликуши», — сказала тетка. Воющая женщина упала передо мной и заколотилась о каменный пол церкви. Я видела ее перекошенный рот и пену на посиневших губах. Потом тетка мне объяснила: «Каждый может стать кликушей, если согрешит. Дьявол вселяется в грешное чрево; только он не может вытерпеть, когда выносят дары христовы... Тут ему тошно делается, он воеет, кричит и об землю бьется. Видела?» В эту ночь мне не спалось. Я, доктор, была очень пытливая, но боялась тетки и никогда ни о чем ее не спрашивала...

Как-то в праздник крещения тетка велела мне принести из церкви «иорданской воды». И надо же было случиться, что я заигралась с девочками по дороге, потом спохватилась, побежала, но обедня уже отошла, — было поздно. Знала, что тетка меня жестоко накажет. Шла домой, а ноги подкашивались. Готова была сделать, что угодно, только бы не встретиться с теткой. Боялась ее страшно. Плелась, сама не зная, куда иду. Вижу — колонка. Люди воду берут. Тут и придумала: быстро наполнила бутылку водой и побежала к дому. Но не вышла моя хитрость. Тетка меня

слишком хорошо знала, чтобы не заметить моего волнения. Помню, у меня дрожали ноги, пропал голос и я осипла. На тринадцатом году я солгала в первый раз.

«Покажи воду», — подозрительно сказала тетка и протянула руку за бутылкой. Я не выдержала, расплакалась и сама все рассказала. Представьте, тетка на этот раз меня не побила. Видно, ради праздника. Она только пронзительно поглядела мне в глаза и сказала:

«Согрешила? В великий святой день согрешила обманом и ложью. Дьявол тебе явится!»

Ночью, холодея от страха, я с головой завернулась в одеяло. «Дьявол тебе явится!» — неотвязно звучало у меня в ушах, и я ждала с ужасом, с напряжением ждала — он явится. . . И вдруг он появился. Черный, с огненными глазами, он плыл по воздуху ко мне. Я крикнула и забилась в судорогах. Потом долго болела. Приходили какие-то старухи, шептали надо мной, крестили меня, отливали водой. Я горела, металась. Мне было все равно, я знала, что дьявол возьмет меня к себе.

Стала выздоравливать, но была еще слаба. Первый мой выход из дому был в церковь. У меня кружилась голова, все качалось.

«Приложись к образу! — скомандовала тетка. — Сейчас вынесут святые дары. Причастись».

Поплыл мелодичный знакомый мотив молитвы перед причастием. Сразу вспомнилась кликуша. . . Слова тетки: «Кто согрешит, в того дьявол вселится» и мой крещенский грех. Знаете, доктор, показалось мне, что именно сейчас обязательно должен кто-то закричать.

«Клади земной поклон, дары выносят», — шепнула тетка.

Рухнув на холодный пол, я неистово закричала. Меня накрыли чем-то черным. Больше ничего не помню. Потом долго не водили в церковь. Старухи говорили: «Порченная. . . за грехи родителей». А какие грехи у родителей? Мать — мученица, всю жизнь страдала от пьяницы отца, от его побоев. Отец стал пить вскоре после моего рождения оттого, что не хотел идти по купеческой дорожке дяди. Но был он человеком слабым, усилий не делал, да так и погиб в казенке. . .

Большая замолкла. На ресницах показались одинокие слезинки.

— Что было с вами дальше?

— Я училась... Была способной... красивой. Семнадцати лет вышла замуж — тетка советовала, а я не спорила — у меня не было воли. Муж оказался алкоголиком. Единственный ребенок умер. Потом встретила и полюбила другого — вы его видели — мой теперешний муж.

Бросила того, вышла замуж. Жизнь стала спокойной, хорошей. Жить бы да жить, но припадки с детства продолжают до сих пор. Измучена... Сил нет...

Теперь после рассказа больной мне, врачу, стало понятной сущность ее болезни. Это был слабый, нервно возбудимый человек, плохо управляющий собой. Эта женщина жила не рассудком, а эмоциями и была в их полной власти. «Сверхсильные» для нее переживания привели ее к такому состоянию, которое врачи понимают как слабость коры мозга. Малейшее раздражение вызывает у нее возбуждение, крик, слезы, припадки. Разумные доводы на нее не действуют. Даже обыкновенные раздражители, ничтожные причины, которые в здоровом человеке не оставляют следа, для такой больной являются «сверхсильными».

Оттого у нее при малейшем волнении и происходили нервные припадки, а также появлялись такие симптомы, как невозможность стоять, ходить, говорить, слышать.

— Ну, а чем объяснить, что я не могу ходить? — спросила жена профессора.

Я постаралась ей разъяснить и она, неглупый человек, очень хорошо меня поняла. Но в силу болезненной привычки еще сопротивлялась.

— От лечения у меня никогда никакого толка не было.

— Вам надо делать усилия. Иначе мышцы ног атрофируются, и вы не сможете совсем ходить.

Я нарочно сгущала краски. Она, видимо, испугалась.

— Что же делать, доктор? Помогите. Все буду выполнять.

— Идите сейчас в палату без посторонней помощи!

— Не смогу!

— Все-таки, попробуйте! Не робейте. Ваши ноги совершенно здоровы.

Больная встала, пошатнулась, снова села в кресло.

— Ничего. Еще несколько усилий и вы справитесь.

— Правда, вы думаете?

— Уверена.

— Еще попробую.

Шатаясь, держась за стены, она дошла до двери, оглянулась на меня со слабой улыбкой, потом облегченно вздохнула и медленно направилась в свою палату.

В данном случае я рассчитывала на главный симптом истерии, а именно на повышенную внушаемость. Расчет оказался правильным.

Я представила себе маленькую, способную, с хорошими задатками девочку, изуродованную бытом, окружением и искренне пожалела эту женщину. Дурная, тяжелая среда привила ей болезнь, и корней этой болезни она теперь не видит. Как много надо делать ей усилий, чтобы обрести здоровье. А ведь это не только возможно, но иначе быть не может.

По моему глубокому убеждению, больную следовало не только лечить, но и перевоспитывать. Эта женщина нуждалась прежде всего в строгом трудовом режиме, к которому была совсем непривычна. Она нуждалась и в вырабатке умения контролировать свои поступки, а это должно укреплять нервную систему.

Психиатрические больницы в отличие от других лечебных учреждений широко применяют трудовой метод лечения, так называемую трудовую терапию. По мере надобности врач назначает больному ручной или физический труд, часто связанный с пребыванием на свежем воздухе, или различные виды художественных работ, вызывающие у больного радость творчества.

Как часто родственники моих пациентов высказывали мне недовольство тем, что вместе с лечением одновременно «заставляют больных работать». «Больница лечит только лекарствами», — так думают иные. Забывается основа жизни и благополучия — труд. Кому не известно: праздность, безделье ведут человека к пассивному подчинению себя случайным эмоциям, к безволию, к ослаблению «тормозов», к нерешительности.

Какие бы магические силы нам, врачам, ни приписывали, мы знаем, что первым своим лекарем является сам больной, пламенно желающий стать здоровым.

Вначале больная активно сопротивлялась «варварскому методу лечения», и в этом неразумно помогал ей муж. Только после его отъезда мне кое-что удалось сделать. Ее надо было заставить работать над собой и для себя.

Через неделю она стала ходить. Мы радовались вместе, но недолго. Как-то задержались письма от мужа. Она

легла и весь день не вставала с постели, а при моем вопросе знаками показала, что ей свело челюсти, говорить она не может. Уговоры и утешения не помогли. Помогло бы письмо, но его не было.

Тогда я решила использовать не испытанное еще мной средство. В ее присутствии рассказала другой больной очень смешную историю. Моя «мученица» вдруг сделала глубокий вдох, что освободило ее от спазма, и вместе с соседкой громко рассмеялась.

Больной было назначено лечение. Под влиянием малых доз брома, теплых ванн, душей, прогулок на свежем воздухе она стала хорошо спать.

Однако главным в ее лечении должна была явиться трудовая терапия — лечение творческим, осмысленным трудом.

Я начала подыскивать подходящее занятие. Мне припомнилось, с каким сожалением она рассказывала о своих неиспользованных артистических способностях, и я предложила ей организовать среди больных драматический кружок. Она взялась за дело робко, неуверенно. Но постепенно увлеклась, проявила вкус и хорошие организаторские способности. С ее помощью были поставлены два отрывка из пьес Островского. Она переписывала роли, разучивала их с больными, руководила установкой декораций. Ее лицо оживилось, в глазах светилась радость.

Кто бывал на театральных представлениях среди больных психиатрической лечебницы, тот знает, какие это благодарные слушатели, с искренними эмоциями. Когда моя больная играла веселые роли, это вызывало у зрителей бурю восторга.

Жена профессора переродилась. Она ощутила радость творческого труда. Труд и лечение вели ее к здоровью. Она была в хорошем настроении, свободно ходила, припадки прекратились.

Профессор очень интересовался здоровьем жены и присылал много писем и телеграмм.

Трудно передать те слова благодарности, которыми осыпал меня профессор, когда он увозил жену из больницы. И совсем уже не описать тех упреков, полных желчи и горечи, которые он высказал мне в письме через три месяца.

Он потерял последнюю надежду. Жена снова отказывалась ходить.

В моем подробном ответе я напомнила профессору о советах. Он забыл, что нельзя покоряться любому капризу жены, что надо заставлять ее двигаться, работать и, главное, воспитывать себя, делать усилия.

Следующее письмо от него было спокойное, хотя и мрачное. Он писал: «Все-таки, доктор, жена — тяжелобольной человек, а вы советуете относиться к ней, как к здоровой. Разве это можно? Если бы вы отнесли к ней, как к больной, она бы давно выздоровела».

Я представила себе эту женщину — «трагический» взгляд ее светлых глаз, эффектную позу «умирающей». И мне припомнилась одна мамаша, написавшая на меня жалобу:

«Я поместила в одну из лучших московских больниц своего единственного сына, для которого готова умереть. Доктор сначала лечил его, а затем заставил работать. Вместо лечения и отдыха, что совершенно необходимо моему мальчику, он растрчивает свою и без того слабую энергию на выпиливание каких-то карнизов. Его даже заставляют вязать салфетки! Во-первых, он — не женщина! Во-вторых, я, мать, протестую против такого лечения!»

Все же верилось, что рано или поздно жена профессора будет здорова. Я попыталась еще раз встретиться с моей бывшей пациенткой, но муж увез ее в другой город.

БАРЧУКИ

Одна почтенная мамаша привела ко мне на прием свою семнадцатилетнюю дочь и сквозь слезы объявила:

— У Ирочки, видимо, психическая болезнь... Недавно запустила в меня чашкой. Исключили из комсомола. Ведет себя как-то непонятно... А чего ей не хватает?

Я занялась Ирочкой. Выяснила: воспитывается она в условиях, где все к ее услугам. Отец — известный химик — редко видит дочь, но компенсируя свое отцовское невнимание, приносит ей подарки и оставляет деньги на развлечения. Ирочке никогда ни в чем не отказывали, давали полный простор развитию ее самолюбия, необузданных влечений.

Ира слишком рано проявила интерес к туалетам. У нее, как сказала мне мать, был «тонкий природный вкус» к нарядам. Но мать не замечала одного важного обстоятельства: у ее дочери полностью отсутствовал вкус к труду. Ирочке постоянно требовались накрахмаленные платя, выглаженные ленты, но сама стирать свои наряды она не желала. А родителям и в голову не приходило заставить дочь что-либо для себя сделать, обслуживать себя. Все делалось руками матери, «лишь бы Ирочка не нервничала».

Как и следовало ожидать, в школе девочка столкнулась с коллективом, с необходимостью владеть собой, считаться с чужим мнением. Естественно, что у плохо воспитанной Иры возникли конфликты с учителями и сверстниками.

Дальше в лес — больше дров. Ее начал тяготить школьный режим, требующий постоянной работы над собой. Она стала получать двойки. Мать обвинила школу, учителей: «плохо воспитывают», «слабо учат».



Иру потянуло к внешкольным подругам, к таким, которым матери разрешают поздно приходить домой. Через новых подруг она познакомилась с мальчиками. Наконец, перестала посещать школу. Однажды ее не пустили на вечеринку. С ней сделался нервный припадок, и она бросила в мать чашкой. Нередки стали у нее истерики, слезы.

Рассказав мне обо всем этом, мать вышла из кабинета. Я осталась с больной наедине.

— Ира! Как ты дошла до такого поступка?

Она заплакала.

— Я стала нервной. И потому бросила...

— Но ты могла поранить мать. Разве это допустимо?

— Нет, я ее в плечо. А почему мать довела меня до этого? Папе некогда, а она...

— Что она?..

— Она никогда прежде меня не останавливала... А теперь я иначе не могу.

Ира рассказала мне историю своей жизни.

Никакого психического расстройства я не обнаружила. Правда, были отдельные симптомы того, что мы, врачи, называем истерией или в широком смысле психопатией. Сказалось неправильное воспитание. Конечно, поступок Иры оправдать нельзя. Это могла позволить себе только испорченная дурным воспитанием девочонка. Но, увы, мне стали понятны причины такого поведения. Мать не совладала с необузданной натурой дочери, и девушка почувствовала бессилие воспитательницы. Главное, у Иры недоставало тех моральных качеств, без которых не может жить в нашем обществе ни один человек. У нее не было любви к труду. Она была ленива, упряма.

Я высказала свои соображения матери. Она осталась недовольна. Согласно ее принципам воспитания, врач должен был пригласить Иру, назначить ей бром, ванны, еще какое-нибудь средство, которое исправило бы результаты родительской беспомощности. Она не понимала, что никакие лекарства не могут заменить мер воспитания.

Ира осталась в девятом классе на второй год, а мать принесла в школу от другого врача справку о наличии нервного заболевания у ее дочери. Мать думала, что эта справка ее оправдает.

Мне, врачу-психиатру, нельзя было оставаться безразличной к судьбе девочки. Созвонившись с директором школы — старой заслуженной учительницей, я объяснила ей причину моего беспокойства. Она приняла горячее участие в будущем Иры. Три раза вызывали родителей, наконец, они явились. Мать, видимо, не совсем довольная моим вмешательством в ее семейные дела, неохотно соглашалась с доводами. Отец оказался благоразумнее. Общими усилиями началось перевоспитание Иры. Отец часто звонил директору школы и мне, советовался. Все это привело к должному результату. Ира закончила школу с удовлетворительными отметками и, проявив интерес к стенографии, поступила на курсы.

Жизнь дополнит воспитание Иры. Возможно, у нее в конце концов выработается и сдержанность в характере, умение владеть собой, многое будет зависеть от среды, в которую она попадет.

* * *

Подобный случай произошел и у моих знакомых. В семье военнослужащего родился ребенок. Подвижный, веселый мальчик приводил родителей в восторг. Они сразу же начали предсказывать ему большое будущее. Им казалось, что у него особый слух и особая память.

Декламация стихов, пропетая песенка вызывали у родителей и знакомых, в том числе и у меня, восхищение. С шести лет родители «необыкновенного» ребенка старались не в меру развивать его ум. Мальчика определили в музыкальную школу имени Гнесиных.

Он никогда не играл со сверстниками, мало гулял и целые дни сидел за роялем. Ему постоянно внушали, что он не должен себя равнять с соседними ребятами, что он — особенный и всегда должен об этом помнить.



«Сема играл в концерте». «Учительница уверяет, что Сема необыкновенно талантлив». «Вот идет наш будущий лауреат!» — говорили родители в присутствии мальчика.

Сема снисходительно улыбался, и на его лице появлялось выражение самоуверенности и превосходства над окружающими.

Сбиваясь буквально с ног, отказывая себе во многом, родители стремились оградить сына от малейшего трудового усилия, если оно не связано с музыкой. Сердобольная мамаша сама причесывала, одевала, кормила его,

сама убирала по утрам его постель.

Так родители уродовали, калечили ребенка, делая из него индивидуалиста — барчука.

Родители относились к сыну, как к взрослому члену семьи, и он как равный принимал участие во всех семейных разговорах; в результате он начал дерзить и никак не мог понять разницы между собой и старшими. У него выявились новые черты характера: раздражительность и эгоизм.

Мальчика водили к докторам. Он глотал порошки, микстуры, ему делали внутривенные вливания глюкозы. Это не помогало. Он сделался бледным, физически слабым подростком. Стал безразличен и к музыке. Да и педагог сознался, что особых способностей у Семы нет. Одним словом, ничего путного из него не выходило. У мальчика с детства было сильное желание стать военным, наблюдалась склонность к военным играм. Мои знакомые несколько раз просили меня показать Сему профессорам — специалистам по детской психиатрии. Они рассказывали мне о симптомах его нервной болезни, просили лечить его гипнозом или сном. Я осмотрела мальчика и сказала, что это не поможет, объяснила, в чем суть его болезни, и посоветовала прежде всего применить простое средство — приучить «вундеркинда» убирать свою постель.

Мальчик решил, что этим его хотят ущемить в каких-то правах. Соппротивление и грубость стали его постоянной реакцией на попытку родителей направить сына на должный путь. Родители оказались бессильны. Тогда, учитывая склонность Семы, я посоветовала отдать его на обучение в Суворовскую школу. Мальчик оживился и только об этом стал мечтать. Родители с болью в сердце поставили крест на его «музыкальной карьере» и послушались моего совета. И что же? Сейчас Сема — brave суворовец.

Новая здоровая среда выправила недостатки родительского воспитания.

Нельзя родителям, воспитывая своего ребенка, прощать ему самодурство, капризы и исполнять все его прихоти. Из такого «чада» вырастет одно из тех существ, которых народ в своей житейской мудрости презрительно называет «барчуками» или «маменькиными сынками».

Барчуки — это пережиток буржуазной системы воспитания. Социалистическому обществу барчуки не нужны. Более того, они вредны, потому что из барчука постепенно вырабатывается мелкий себялюбец и бездельник, существо, лишенное чувства ответственности перед обществом и пасующее перед малейшими трудностями. Ребенок привыкает к безоговорочному выполнению его капризов, вырастает эгоистом, считающим себя «пупом земли». Он противопоставляет себя коллективу, отвергает мнение и решение коллектива, если его желание отказываются удовлетворить.

В романе «Молодая гвардия» показан жизненный путь такого барчука — Стаховича. «С детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития»; он «умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство». Эти воспитанные с детства чуждые советским людям качества Стаховича логически завершаются преступлением: в трудную минуту барчук изменил Родине, предал своих товарищей. Это, конечно, крайний, доведенный до предела, случай.

Привычка получать от родителей все, чего душа захочет, неумение преодолевать трудности приводят к тому, что малейшие невзгоды, незначительные препятствия ставят человека в тупик.

Бывает так, что человек чувствует свою физическую и психическую неполноценность, однако причину этого ищет не там, где надо. Человек не может или не в состоянии по-

нять, что всему виной неправильное воспитание. Вот он и начинает лукавить, сваливает все на тех кто ему противоречит, мешает, противостоит, кто борется с его индивидуалистическими привычками.

Преувеличенная и неправильная забота родителей о здоровье детей — вызовы врачей по каждому пустяку, всякого рода сомнительные советы родных, тревоги и волнения — может сделать ребенка чересчур впечатлительным, тревожно-мнительным, нервным себялюбцем, создает барчуков!

ВСЕГО ДВЕ РЮМКИ...

Эта студенческая вечеринка мало чем отличалась от вечеринок прошлых. Только сейчас молодежь собиралась не в общежитии, а в двух смежных комнатах родителей Эммы К.

— Мама! — заявила Эмма — студентка второго курса консерватории, — вы только, пожалуйста, с отцом «эвакуируйтесь!»

И послушные родители на одну ночь «эвакуировались» к родственникам. Дети так редко веселятся!

Правда, отец немного поворчал, но жена уговорила его, что ничего случиться не может, тем более что в квартире еще оставалась соседка Серафима Петровна.

Да и ребята, студенты, плохого себе не позволят... А мы будем только стеснять молодежь. Так уговаривала Эмина мама папу.

Сокурсницы Эммы радовались, готовясь повеселиться на славу! С ними была Лиля — рыжеватая девушка, новая Эмина приятельница, которая родителям не очень нравилась. Год назад она окончила школу и осталась дома, никуда не поступила.

Эмма и ее подруги были одеты обыкновенно, а на Лиле все поражало: французские легкие, как пух, перепончатые туфельки с каблукочком-гвоздиком, чулки перлон с немецкой маркой, на слишком открытые плечи был наброшен индийский газ с прожилками золотой парчи и с меткой «Калькутта».

Лиля быстро освоилась в квартире и деловито спросила:

— Сколько будет вина? —

Она высказала мнение, что неинтересно, когда у мальчиков не кружится голова, необходима водка или что-нибудь вроде коньяка, рома.

Мальчики были самые обыкновенные — студенты. Но двое-трое из них оказались сметливыми. В кармане пиджаков, недорогих, но застегнутых по моде на одну пуговицу, эти молодые люди принесли еще бутылочку «белоголовой» и шедевр вечера — ром «Порто-Рико».

Вечеринка обещала быть интересной. И, действительно, вначале все веселились. Один из юношей, Миша, студент Литературного института, все время поглядывал на Эмму. Глаза ее напоминали ему героиню одного индийского фильма. И в самом деле глаза Эммы были хороши: большие, блестящие, доверчивые. Правда, у нее несколько широковат улыбочивый рот, но в общем девушка симпатичная. После первой же рюмки Миша стал произносить тосты в стихах:

«За Ваши очи
Не посплю я ночи!»

или:

«За черные Ваши очи
Выпьем сколько будет мочи!»

Все понимали, что это относится к Эмме, кричали ура и требовали новых тостов.

Эмме, как и любой девушке, внимание нравилось. Настроение было приподнятое. Она охотно, с темпераментом играла на пианино. После браваурного вальса Штрауса Миша дольше всех хлопал в ладоши. Он предложил выпить за Эмму, за ее талант! Ром сделал его смелым, несдержанным. Он взял Эмму за руку и стал ей что-то шептать.

Вначале Эмма все принимала за шутку и восторженно смеялась. Все теперь казались ей милыми, хорошими, а Миша, конечно, лучше всех.

Известно, что спиртные напитки вызывают иллюзию хорошего настроения, даже счастья. Человек теряет возможность критически оценивать свое поведение. Этому сопутствует двигательная и речевая активность. Под влиянием спиртного люди слишком много говорят, шумно передвигаются и совершают поступки, которые в трезвом виде не сделали бы.

Человек «под градусами» начинает «изливать свою душу», говорит и действует «без тормозов». От безделицы он может войти в веселый раж, от пустяка — разгневаться,



Неизвестно почему, но так уж повелось: рюмка водки полагается там, где люди собираются повеселиться. Как будто бы в этом нет ничего зазорного. Но вот что удивительно! Оказывается, рюмка водки обладает коварным свойством розовых очков. А ведь не все юноши и девушки знают об этом.

Студент Миша возомнил себя настоящим поэтом и хвастался, что его поэма скоро будет напечатана, хотя она даже написана еще не была. Под влиянием выпитого вина застенчивая Эмма влюбленно смотрела на поэта и, подражая изящной Лиле, позволяла Мише целовать свои руки.

А тут еще дым папирос, тягучая музыка танго, шаркающий перебор ног, меланхолия побледневших лиц. Лиля рассказывала, что вечера она проводит в ресторане «Пекин», где на высоких табуретках вместе с другими тянет из трубочек коктейль. Она рассказывала, какие у этих «других» наряды, модные прически.

— Где это твой пападырь открыл такие мировые бра? — спросила у Эммы Лиля, гася люстру и зажигая тусклые лампочки виноградных кистей бра,

— В полутьме танцуется дивно!

Мальчики предложили провести «физиологический эксперимент». Эмма мало пила, меньше других, потому выбор пал на нее. Девушки уговорили ее выпить еще «только одну рюмку». В рюмку был налит «ерш» — смесь крепкого рома, водки и вина. Было очень смешно, когда скромная Эмма, задохнувшись, крикнула: «Ой, горько!»

Поэт, вдохновленный этими словами, обнял Эмму и, взглянув в ее большие, блестящие глаза, попытался поцеловать. Потом он читал стихи о любви, только не свои, а Игоря Северянина. Стихи восхитили Эмму. Кажется, теперь она во всем верила юному влюбленному, а обстановка вечера казалась ей мечтой.

Танцуя с Эммой, Миша настойчиво увлекал ее в дальнюю, темную комнату. Почему бы и не пойти? Ведь и в первой комнате стояла полутьма! В памяти почему-то вдруг всплыли Лилины слова: «Жизнь дается один раз, и надо все испытать...».

В перерывах между танцами, слегка пошатываясь, Миша с пьяным пафосом уверял Эмму в вечной любви. Его черные волосы совсем закрыли лоб, а карие глаза в упор смотрели на девушку. Бледное от вина лицо поэта казалось искренним и прекрасным.

... Рассвет застал в скромной, уютной квартире полный ералаш. Миша с недоумением смотрел на плачущую Эмму. В бледном свете очень раннего утра ее лицо с широким ртом, в рамке спутанных темных волос, казалось чужим и некрасивым. Действие винных паров прошло, и пьяный угар постепенно заменялся досадой, неловкостью, почти стыдом, жалостью к плачущей девушке. Вся ее сжатая фигурка выражала смущение, растерянность, сожаление. Она встала и вышла. Миша хотел последовать за ней на кухню, но скрипнула дверь и показалась соседка Серафима Петровна.

— Ты что плачешь, Эмма? — спросила она с искренним участием.

Комок подступил к горлу Эммы. Не в силах вымолвить слова, она всхлипывала на плече Серафимы Петровны. Пожилая женщина ласково гладила спутанные волосы, но голос ее звучал строго:

— Как же у тебя, Эмма, не хватило ума понять... Ведь любовь семь раз проверить надо. Настоящая любовь — дело большое... А с рюмкой водки, какая же это любовь... И много ты выпила?

— Всего две рюмки... — вздрагивая от нервного озноба и горечи, ответила Эмма.

Худшее произошло немного спустя...

Врачи диспансера выяснили, что Миша последние два месяца вел беспорядочную жизнь. Итогом явилась венерическая болезнь. О ней Миша не подозревал целый месяц.

У нас подобные болезни встречаются теперь не так часто, но они все еще остаются спутниками любителей «красивой жизни...».

Миша, а за ним Эмма узнали, что такое несчастье. Поздно, но оба поняли мудрый смысл пословицы: «Человек сам кузнец своего счастья».

Каждый из них пошел уже своей неверной дорогой, а жаль...

Об Эмме мне рассказала ее лечащий врач И. В психиатрическую больницу Эмму привела попытка покончить самоубийством. Я видела ее один раз и то издали. У меня мелькнула мысль: «Почему иногда хорошие юноши начинают пить водку и вести такую жизнь?».

Скорее всего их толкает к этому ложный стыд не сделать того, что делают «друзья».

А девушки? Неужели основная причина падения Эммы только две рюмки... Конечно, иллюзию «розовых очков» создали они, но ведь этого для морально сильной, умной девушки мало! Здесь невольно вспоминаются мудрые слова: «Ответь, с кем ты дружен, а я скажу — кто ты». Лиля — та, что в ресторане вечерами тянет из солсминки коктейль... Не она ли повлияла на Эмму, подобно тому как гнилое яблоко портит хорошее? Если так, то какая у нее была цель? Может быть, зависть, тоска по утраченному стыду, целомудрию, чистоте? Злое желание втянуть в смрадную яму, куда попала сама, других, нетронутых еще? А Эмма? Не заразилась ли она влечением к лжекрасивой и легкой жизни?

Что же развращает молодежь, выбивает из здоровой колеи жизни? Откуда берутся юноши, щеголяющие в тридцатиградусный мороз без шапок, в обтянутых узких брючках и проводящие вечера так же, как провели Эмма и Миша. Как получается, что прекрасная, трудовая жизнь кажется этой немногочисленной категории молодых людей пресной, лишенной интересов, а высокие идеалы, творческие взлеты мысли — смешными? Кто показывает им на-

стоящую жизнь в кривом зеркале? Что это? Погоня за внешней пустотой, желание подражать виденному в зарубежных кинокартинах или вычитанному в бездумно написанных натуралистических романах? Может быть, виной этому отсутствие строгости родителей?

А что, если бы сообща всем подумать об этом, да так, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться?

МЭРИ

Как-то, проходя по бульвару, я присела на широкую скамью рядом с молодым человеком и девушкой в наряде расцветки попугая. Красная блузка, зеленоватая юбка, химические пунцовые губы и ногти и, наконец, серьги-клипсы, совсем как елочные украшения. Однако вздернутый носик и голубые глаза девушки были детски милы, несмотря на ее пестрое «оперенье» и вычурную манеру говорить:

— Ах, Мишутэ... Вы такой нерегламентированный. Ну, давайте устроим рандеву в день субботний...

Добродушное загорелое лицо юноши, густая копна волос, вельветовая куртка, спортивные тапочки и книги в руках давали право полагать, что это студент. Он влюбленно смотрел на девушку и крепко сжимал под мышкой книги.

— Маруся...

— Не Маруся, а Мэри! — Она кокетливо ударила пунцовым ноготком по мускулистой руке собеседника.

В небольших серых глазах Мишутэ мелькнуло огорчение, а все его лицо выразило крайнюю озабоченность.

— Не все ли равно? Ну, пусть Мэри! Только, Маруся, вы знаете мое чувство к вам... Зря вы бросили десятый класс... И надо учиться или работать. Не век же надеяться на папашу...

— Ах, оставьте!... От вашего резюме у меня начинается меланхолия.

— Меланхолия — понятие устаревшее... Бывает депрессия эндогенная и, наоборот, экзогенная на почве неблагоприятной ситуации... — отчеканил студент и стал откусывать кожуцу у ногтя мизинца.

— Вы образованны, как я вижу, но совсем не воспитанны... — прошептала Мэри сквозь пунцовые губки, критически оглядывая поклонника.

— Не в этом дело, Маруся! — решительно откусил кожу ногтя Мишутэ. Теперь его глаза казались больше и смотрели в упор на девушку. — Скоро я кончу учебу, а вы знаете... от вас зависит...

Я продолжала сидеть на скамье. Он взглянул на меня и стал говорить тише, но волнение делало его голос дрожащим и звучным...

— Поедем вместе в деревню... На Кубань.

— Из Москвы угодить прямо в деревню к коровам? Это пикантно.

— Не вижу дурного. Будем там работать...

— А почему бы вам не обосноваться в Москву?

— Нельзя. Долг... стипендию от государства получал.

— Надоела мне ваша философия... — рыжеватая челка Мэри вздрогнула.

* *
*

Может быть, я бы не вспомнила больше никогда о девушке в попугайном наряде, но случай свел меня с ней вплотную. Как дежурного городского психиатра меня вызвали к одному буяну-алкоголику, недавно перенесшему белую горячку. Я прибыла на место.

Обстановка двух маленьких комнатусек была убогая. Склонившаяся девушка с ожесточением мыла пол. Когда она приподняла голову, я остановилась, как вкопанная. Это была Мэри.

Она меня не вспомнила.

Ловко выжав тряпку, девушка ополоснула руки и вежливо предложила мне стул.

— А где больной? — спросила я.

— Отец? Там... — махнула она рукой на смежную комнату.

— Набуянил и уснул. — Ее глаза показались мне усталыми.

Отец Маруси находился в смежной комнате. Я прошла к нему. Он спал, сидя в старом кресле. Его лицо было испытным, нос покрывала багряно-красная сеть расширенных кровеносных сосудов. Он невнятно промычал что-то во сне, его отечные веки вздрогнули, но не раскрылись. Среди морщин лба выступили мелкие капли пота. Вся его фигура с

босыми ногами в калошах казалась неопрятной. Я прикрыла дверь и села побеседовать с девушкой.

— Как вас зовут?

— Мэри... Маруся...

В комнату вихрем ворвался мальчик лет десяти с такими же голубыми глазами и вздернутым носиком, как и у Маруси.

Она извинилась и, отложив в сторону портфель мальчика, заставила его вымыть руки. Затем усадила его к столу, подала обед.

— Это брат Витя. Он у нас отличник... Теперь он уже в пятом классе, — сказала Маруся тоном, каким говорят матери.

Отличник украдкой на меня глянул и в смущении провёл ложкой по столу.

— Кушай! Да иди немного погуляй, а потом за уроки, — сказала девушка брату.

— Вот мамы у нас нет... — заметила Маруся, когда брат вышел на улицу.

— Давно?

— Три года как умерла...

В комнате стало тихо. Сквозь приоткрытую дверь слышался храп пьяного отца.

— Терплю ради брата, а то, кажется, сбежала бы на край света...

— Не учитесь и не работаете?

— Нет... — Маруся прямо, серьезно посмотрела мне в глаза и вдруг опустила голову и тихо призналась: думала выйти замуж, да не вышло...

Ее глаза наполнились слезами, а милое личико с подстриженным рыжеватым чубом стало совсем детским. Мне



было жаль ее, как младшую сестру. Видимо, она это почувствовала. Ничего не скрывая, Маруся все рассказала мне о себе.

— Ну, а кто же ваши подруги? — спросила я.

— Одна — дочь инженера, а у другой отец слесарь... Обе кончили школу и больше ничего не делают.

Значит, их родители считают это возможным и предоставили им право на праздную жизнь?

Молчание Маруси было ответом на мой вопрос, а потом она продолжала:

— Их девиз — «Стиль и яркая жизнь!» И мне казалось, что это красивая жизнь...

— Вычурность в одежде всегда смешна...

— Да, пожалуй, верно... Но тогда мне казалось, что это и есть «красивая жизнь».

— Но ведь мода требует денег!

— Изю всех сил я тянулась и подражала...

— Вы никого не любили?

— Любила... очень любила... студента-медика. И он меня тоже, все страдал обо мне, да вдруг схладел. Подружки уверили меня, что можно приворожить. Повели к одной молдаванке. Была такая в Москве... Три месяца все привораживала. Взяла у меня много маминых и моих вещей, а Миша так и не вернулся ко мне.

— Он знал что-нибудь о вашей жизни?

— Нет! Он видел меня только на улице... Я говорила ему неправду, что отец занимает большой пост, что живем мы в достатке... Как и мои подруги, я показывалась ему в ярких нарядах. Думала, что это ему нравится, но ошиблась... Он уехал на Кубань. Недавно я ему о себе написала все.

— Ну что же, он поступил правильно, что уехал.

— Но ведь Миша сделал мне больно.

— Боль пошла на пользу: вы стали правдивы.

— Разве? — усомнилась Маруся.

— Ваше правдивое письмо, возможно, вернет вам Мишу.

Голубые глаза Маруси сделались влажными. Как бы умоляя, она сложила маленькие руки с облезшим от домашней работы маникюром.

Мне искренне было жаль эту девушку. Как случилось, что такая добрая, чуткая, достойная уважения, она могла стать попугаем?

Пришлось сказать ей все, что я о ней думаю. Маруся не обиделась, она все поняла и заплакала.

Ее отец продолжал спать.

На следующий день я снова посетила пьяного отца Маруси, а через неделю направила его на длительное лечение в больницу.

Еще через неделю я зашла проведать Марусю. В двух маленьких комнатках все было так чисто, так блестело, словно ожидали гостей. Сама Маруся была в простеньком белом платье, и ее голубые глаза светились радостью.

«Отчего она такая», — недоумевала я. Мы поговорили о будущем, и мне понравилось, что наметила себе в жизни Маруся. Теперь я знала, что она никогда не будет попугаем. И попросила ее:

— Если придет письмо от Миши, вы скажете мне?

— Обязательно! — и она улыбнулась простой, доверчивой улыбкой, — а пока вот это...

Маленькая рука с облезшим маникюром протянула мне листок, сложенный вдвое. Это было заявление Маруси с резолюцией директора завода о зачислении ее в качестве лаборантки.

— Завод в двух шагах от нашего дома..., а там и учиться буду.



НЕУДАЧНИКИ

К о мне на прием пришел человек лет сорока пяти, звали его Григорием Семеновичем. Он опустился на стул грузно, как старик, и безнадежно произнес:

— Доктор! У меня тяжелый невроз... Все на нервной почве. Лечился у известных врачей, даже у гомеопатов... Бесконечно пью бром, люминал... Ничего не помогает! Начинаю подумывать — стоит ли жить?

Я попросила его рассказать о своей жизни.

Он нетерпеливо, с раздражением произнес:

— Это не имеет прямого отношения к болезни. В конце концов, вам все равно, как живет человек и что делает.

Я постаралась ему разъяснить, что для успешного лечения невроза именно этот путь указал И. П. Павлов. Надо знать, как живет больной, не скрыта ли причина заболевания в условиях его жизни. Мое убеждение мало подействовало на Григория Семеновича: он рассказывал о себе нехотя, цедя слова и в то же время подчеркивал, что «занимал» ряд «высоких постов». Посты действительно были высокими, ответственными, но самого разнообразного характера. В ранней молодости Григорий Семенович обнаруживал способности и учился в художественной школе. Была мечта стать большим художником. А молодежи свойственно мечтать и готовить себя к большой жизни. Это в порядке вещей. Молодые люди всегда устремляются ввысь. В мечтах они летчики, поэты, изобретатели, рекордсмены.

Однако воплощение высоких идеалов требует усилий воли, преодоления препятствий, больших знаний.

Кропотливый труд художника тернист. Студенты — товарищи Григория Семеновича жили в стесненных условиях,

нуждались, в «поте лица» трудились, неуклонно направляясь к цели. В то же время сам Григорий Семенович пошел по другому пути. Он стал добиваться «легких» административных должностей. С этого и началось. Постепенно желание трудиться остыло. Самоуверенность помогла быстро подняться на должность начальника планового отдела какого-то предприятия. Затем был директором пивоваренного завода, прорабом строительной конторы, ревизором... Обычно работал недолго и, как правило, увольнялся «по состоянию здоровья». Перед ним открывались широкие перспективы труда, усилий, закаляющих волю, но он себя не затруднял, а, не справляясь с возрастающими задачами, «заболевал».

Он рассказал мне, что стал раздражительным, склонным к мнительности. Наблюдая его, я заметила, что он не любит слушать других, но зато с удовольствием говорит о себе. Так, о своей болезни он рассказывал мне в течение часа. Считал, что к нему недружелюбно относятся, несправедливо «обходят по службе...»

Это был невроз, явившийся результатом «характера, выпущенного на волю», легкомысленного отношения к себе.

— Меня посылали в санатории, я принимал массу процедур, но ничего не помогло. Сами видите, до чего дошел...

Григорий Семенович действительно попал в тупик, а перестраиваться было уже поздно.

Как часто подобное легкомыслие ведет людей на стезю неудачников, не видящих смысла в жизни!

Как часто подобные неудачники обращаются к врачам, жалуясь на «нервную почву». К сожалению, врачи выписывают им рецепты, назначают ванны, впрыскивают возбуждающие средства... А человек вместо критической оценки своих поступков продолжает во всем винить «нервную почву». М. Горький пишет: «...страхи, стоны и жалобы кое-кого из вашей среды тоже не что иное, как результат ощущаемой жалобщиками безоружности перед жизнью и их недоверия к своей способности бороться против всего, чем извне, а также изнутри угнетает человека „старый мир“» «...нужно запастись верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается преодолением препятствий...»

Я откровенно сказала «больному» свое мнение о происхождении его «нервного» заболевания. Он был раздражен и недоволен, но, кажется, первый раз в жизни призадумался. Слезы его облегчили.



Решительный сдвиг в здоровье Григория Семеновича произошел под влиянием психотерапии — могучего средства лечения словом.

Ведь слово, как нам известно, такой же раздражитель, как и всякий другой. Слово может вызвать у человека любые реакции. И если мы не отделяем человека от окружающей его социальной среды и понимаем его организм как единое целое, то успех психотерапии обеспечен. Но как излечиваются словом самые тяжелые нервные функциональные расстройства, например истерические параличи, неукротимая рвота и т. д.? Как при помощи слова облегчаются такие болезни, как гипертония?

И. П. Павлов раскрыл физиологический механизм внушения. Слово влияет на психику, на высшие регулирующие функции мозга, на весь организм, непрерывно взаимодействующий с окружающей средой. Психотерапия немыслима без анализа причин болезни и условий ее развития.

Надо заметить, что Григорий Семенович освободился от своей «нервной» болезни не сразу. Он еще долго ходил ко мне и высказывал свои сомнения. Но слово открыло ему глаза. После долгих колебаний Григорий Семенович начал работать на заводе лекальщиком и работает уже пятый год. В этом ему помог не только врачебный совет, но и здоровый советский коллектив. В дальнейшем мне пришлось наблюдать аналогичные случаи.

* * *

Однажды ко мне на прием привели «депрессивного» студента-медика. Его сопровождали отец, мать и бабушка.

Студент был тщедушен, бледен, угнетен. Бабушка сообщила, что Миша хотел лишиться себя жизни. Будущий врач перечислил признаки своей болезни: апатию, отвращение к учебе, обмороки при виде крови.

Как попал этот юноша в медицинский институт? Почему именно в медицинский?

Миша был единственным ребенком в семье. Когда у него слегка повышалась температура или появлялась случайная царапина, родителей охватывал панический ужас. Они предполагали, что это туберкулез, а может быть и воспаление мозга или — не дай бог! — заражение крови. Мальчик страдал от постоянного страха. Ему усердно внушали: не пей холодной воды, не гуляй долго — простудишься, не играй с детьми, не берись за дверную ручку — можешь заразиться чем-нибудь. Неправильное воспитание уродовало характер Миши. Он стал робок, непомерно мнителен, брезглив, при виде крови у него иногда наступали обмороки.

И вот Миша получил аттестат зрелости. Хотел поступить в педагогический институт, но легко поддался настоянию родителей, без его ведома решивших, что он должен стать врачом.

Уже на первом курсе Миша столкнулся с тем, что было «противно» его натуре. Пребывание в анатомическом театре доводило его до обморока. Повышенная мнительность парализовала все его действия. Неудачи в учебе — результат отсутствия интереса — вели к разочарованию, к депрессии.

На приеме Миша грустно вздыхал и даже всплакнул.

Что же было с ним дальше? Куда повела судьба неудачного медика?

К счастью, он не слишком поздно понял свою ошибку. Миша перевелся в педагогический институт и успешно его закончил. «Неудачник» под влиянием благоприятных условий превратился в энергичного, полезного обществу, жизнерадостного человека. Сейчас он готовится к поступлению в аспирантуру.

У студента Миши все окончилось относительно благополучно. Но представим себе, что он продолжал бы учиться в медицинском институте и затем вступил на медицинское поприще, предназначенное для него родными. Что стало бы с ним тогда? Трудно предположить, что он закончил бы институт, а если бы это и случилось, то какую пользу отечеству принес бы этот врач, ненавидящий свою профессию?

Недавно я стояла у трамвайной остановки и невольно прислушалась к разговору двух девушек.

— Знаешь, Светлана, я решила идти в литературный институт. У нас литература в крови, по наследству. Папа пишет стихи, а он зубной врач... Дядя-кассир, и тот иногда сочиняет.

— У меня от этих институтов голова кругом идет, — ответила ее собеседница. — Ужасно надоело выбирать. Вот, если первым пойдет трамвай «А», пойду учиться в юридический, если «третий», то в горный...

— А если ни тот, ни другой, значит, никуда не пойдете? — спросила я.

— Значит, такая судьба! — упрямо ответила девушка.

Обе засмеялись и, видимо, смутившись, побежали к трамвайному автобусу.

Этот разговор навел меня на невеселые размышления. Как могло произойти, что после десяти лет обучения, получив аттестат зрелости, эти молодые люди столь легкомысленно определяли свой дальнейший жизненный путь? Готовил ли их кто-нибудь к этому решающему шагу, дали ли нужный свет? Разговор девушек позволял думать, что никто — ни родители, ни школа, ни комсомольская организация — не помогли им избрать из множества профессий именно ту, которая была бы наиболее близка их склонностям и характерам, позволяла с наибольшей полнотой проявить свои способности.

Может показаться, что человек, находящийся на распутье и избирающий одну из многих дорог, проявляет свободу воли. Но, по словам Энгельса, свобода воли не что иное, как способность принимать решение со знанием дела. А о какой «свободе воли» может идти речь, если многие выпускники наших школ избирали профессию без всякого знания дела?

Родина дает молодежи возможность получить знания в различных сферах нашей разносторонней, интересной жизни. Есть стчего закружиться юной голове: сколько дорог! Выбирай ту, которая нравится. И если молодой человек со школьной скамьи будет считать труд необходимым и главным в своей жизни, то неудачником он уже никогда не будет.

Григорий Семенович — представитель группы нервнобольных неудачников, не пожелавших по-настоящему трудиться, учиться, преодолевать жизненные препятствия. Мне встречались «неудачники», которых породило уродливое воспитание в семье.

А школа? Хорошо ли помогает школа своим воспитанникам в выборе профессии? Думается, что в ряде случаев плохо. Часто бывает так, что десятиклассники совершенно не представляют себе, какую профессию они выберут, какие трудности и перспективы ожидают их на избранном поприще. Но ведь советская высшая школа призвана готовить специалистов, у которых сильно развито чувство долга и уважения к труду. А как ученики могут уважать труд, если школа оторвана от жизни, от повседневной трудовой практики? Естественно, что от этого страдает и учебно-воспитательная работа. Технические кружки в школах, экскурсии учеников на заводы и стройки еще не могут дать ясного представления о труде металлургов, строителей, электриков и т. д. Только обучение без отрыва от производства даст возможность учащимся проявить склонности и призвание. Уже на школьной скамье ученик сможет определить свою будущую профессию, полюбить труд. Вот когда он без ошибки изберет правильный жизненный путь!

Как много радостного, волнующего, величественного совершается в нашей стране! Скромные труженики становятся героями труда — знаменитыми ткачами, машинистами, учеными. И эта радость свободного, творческого труда дает человеку настоящее, ни с чем несравнимое счастье. А человек, по словам А. М. Горького, «должен, обязан быть счастливым».

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО

В этот день было много больных. Прием закончился.

— Есть еще кто-нибудь? — спросила я дежурную фельдшерницу.

— Да, — сказала она и подала незаполненный бланк истории болезни.

— Больная пришла сама?

— С родственником.

— Хорошо. Пригласите сначала его.

Вошел довольно полный человек с приятным лицом, на котором проглядывала озабоченность. Вошедший отрекомендовал себя зятем больной. Он сел против меня и тихо заговорил:

— Доктор, дорогой! Умоляю вас, скорее направьте мою родственницу в больницу. Это сейчас она такая тихая, а совсем недавно задала нам жару.

— Посмотрим.

— Я вас очень прошу. Вы должны войти в мое положение. Не могу я оставаться с ней наедине. Она убить может! Ведь это ужас! В течение целого месяца совсем не спит. Чуть не убила в институте своего жениха уважаемого доцента Лугова. Вот направление поликлиники министерства.

Я ознакомилась с врачебным документом: «Наследственность патологическая, — гласил документ, — в роду больной у близких по крови родственников наблюдались тяжелые психозы. Заболевание началось остро несколько дней назад, но и раньше за больной замечались странности. Первого октября во время лекции набросилась на своего товарища.

С психической стороны: больная не вступает в общение с окружающими, недоверчива, тревожна, подозрительна. Общий фон настроения: тоска, отчаяние. Видимо, имеются и бредовые переживания, которые больная скрывает».

Ниже следовала приписка: «По состоянию подходит для беспокойного отделения».

Я сначала прониклась доверием к врачебному документу, в котором многое

указывало на шизофрению. Когда я окончила чтение, родственник больной сказал:

— Должен вам сообщить, что в их роду (я женат на сестре Марины Николаевны) сумасшедших видимо-невидимо. Даже моя собственная жена иногда бывает не совсем нормальным человеком. А уж наследственность, сами знаете, не перешибешь.

Выяснив все подробности, относящиеся к характеру и поведению больной, я предложила ввести ее в кабинет.

Родственник вышел. За дверью послышался неясный шум, подавленный стон.

«Надо готовить путевку в беспокойное отделение больницы», — подумала я и на чистом бланке путевки уже написала фамилию больной и те краткие сведения, которые узнала из документов и со слов родственника.

Вдруг открылась дверь и вместо ожидаемой больной вошел поспешным шагом высокий статный мужчина лет тридцати.

— Простите, доктор. Я без стука. Моя фамилия Лугов. Я — друг Марины Николаевны. Она сейчас снова набросилась на меня.



Лугов сел и рассказал мне о больной, которую я еще не видела.

— Простите меня, доктор, за откровенность. Я Мариной Николаевной горячо увлекался, я ее глубоко уважал. Я, наконец...

— Любите ее? — подсказала я, выводя собеседника из смущения.

— Да... — Он склонил голову, задумался и затем продолжал. — Разрешите быть откровенным. Кажется, меня никто в институте не осуждал за мое чувство, которое и нельзя было скрыть. Я вам должен сказать, что Марина Николаевна — очень способный научный работник. Вы себе и не представляете, сколько энергии проявляла она. Лекции, которые она читала, нередко заканчивались аплодисментами студентов. Даже мы — ее товарищи — посещали эти лекции. Она проживает совместно с сестрой и ее мужем, Аврелием Арсентьевичем. Надеюсь, вы о нем слышали. Он занимает большой пост...

— Я только что познакомилась с ним.

— Вероятно, он просил поместить Марину Николаевну в спокойное отделение больницы?

— Кто он? — не сразу поняла я.

— Зять Марины Николаевны. Так вот я должен предупредить вас, доктор, что это чрезвычайно опасная больная.

— Нет, он меня об этом не просил, — ответила я, не понимая, к чему этот разговор.

Ход мыслей Лугова был непонятен. Он поднял голову, и мне показалось, что глаза его были скорее пытливыми, чем грустными. Я постаралась успокоить его. Безнадежно покачив головой, он сказал, что у любимой женщины «тяжелая наследственность».

— Не смею указывать психиатру. Но, наблюдая Марину Николаевну, я понял, что это — психоз.

Тут же Лугов подробно нарисовал мне картину помешательства больной, ее нелепых высказываний и неправильного поведения, снова упомянул о ее «тяжелой наследственности».

— Кто вам рассказывал о наследственности Марины Николаевны? — спросила я. Лицо Лугова сделалось напряженным, но ответил он спокойно и мягко:

— Она сама мне рассказала, что в ее семье все были сумасшедшие. Бабушка, у которой она воспитывалась, во

время одного из приступов облила себя керосином, подожгла и сгорела. С тех пор у Марины Николаевны во время сильных волнений наступают обмороки. Она мне сама об этом рассказывала. Ее отец и дядя — наследственные алкоголики. Дядя, брат отца, в пьяном виде повесился. Отец умер от какой-то горячки. Мать ее страдала от пьянства отца, плакала, и ей установили диагноз — эндогенная депрессия, одним словом, возникшая без внешних причин, но в результате предуготованности.

Я с иронией подумала: «Какой он просвещенный». Лугов продолжал:

— После рассказа Марины Николаевны я стал замечать у нее странности. Видно начиналось...

— Она рассказывала это только вам?

— Вы, доктор, задаете странный вопрос. Откуда же я знаю? Вероятно, не только мне.

— Что было дальше?

— Дальше? Она окончательно сошла с ума. Достаточно вам сказать, что во время лекции она вдруг впала в буйство, разбила на столе стекло... Думаю, что больше добавить нечего.

Простившись со мной, Лугов вышел, и я видела, что лицо его недовольно и встревожено.

Открылась дверь, родственник пропустил больную вперед, усадил ее на стул.

— Разрешите нам остаться наедине, — сказала я.

Извинившись, он вышел.

Я ожидала увидеть больную, возбужденную бредовыми идеями, а встретила вялую, равнодушную женщину, с потухшим взглядом. Ее продолговатое, тонкое лицо было бледно. Голубые глаза смотрели безучастно. Приподнятые тонкие брови словно застыли в удивлении. На бледный лоб падали пряди сбившихся каштановых волос.

— Вы давно больны? — спросила я.

Не взглянув на меня, она ответила:

— Не знаю...

— Расскажите о себе все.

Ее взгляд нехотя скользнул по моему лицу. Она слегка повернула ко мне голову и темная тень под глазами выделась резче. Ответа не последовало.

— Давно вы испытываете тревогу?

— Несколько месяцев...

— Расскажите о наследственности!

— Что вам от меня нужно? — раздраженно спросила больная.

— Давно у вас подозрительность, тоска?

— Не знаю... Не помню.. Они меня считают сумасшедшей. Впрочем, может быть, я действительно такая и есть...

— Вы не сумасшедшая, но сейчас больны и вам надо лечиться... Возможно, это у вас необычная нервная реакция на какую-то неблагоприятную для вас ситуацию...

— Больна... Надо лечиться... — повторила она и встала. Затем вдруг схватилась за голову, застонала и снова села.

В то время я была еще молодым врачом и придавала большое значение наследственности. Однако в своем первом впечатлении, в значительной степени навеянном документами и рассказами о больной, я была не совсем уверена. Смутило меня одно обстоятельство: когда я по-дружески взяла ее за руку и попросила все о себе рассказать, она не отняла руки, что часто делают такого рода больные, а внимательно, почти доверчиво посмотрела мне в глаза.

— Зачем? — Если мне на роду написано быть сумасшедшей, что может мой рассказ изменить?

— На роду ничего не написано, — убежденно сказала я.

В самом деле, мне были известны многие люди, на которых никакое наследственное отягощение почти не оставило следов только потому, что условия работы и жизни этих людей были благоприятными.

Я назвала Марине Николаевне фамилию одного видного профессора, которого она, конечно, знала. У него в роду было много психически больных, и это на нем никак не отразилось.

К моему удивлению, моя пациентка заговорила без всякого принуждения.

— Знаете, доктор, вот в такие сумерки — перевела она взгляд на окно, — мы катались с Сергеем Петровичем на лодке,

— С Луговым?

— Да. И тогда я ему все рассказала. А потом он стал совсем другим. Как-то, проходя по коридору мимо открытых дверей аудитории, я услышала, как Лугов кому-то говорил о моей наследственности, о том, что он замечает во мне странности... Когда я услышала, что обо мне так говорит любимый человек, я растерялась, перестала спать

ночами, все думала: может быть, я и в самом деле сумасшедшая? Оттого и произошло это на лекции.

— Что произошло? — спросила я.

— Я много ночей не спала, не ела, переутомилась подготовкой к лекциям и потом все думала о себе, о нем. Перестала верить в себя... Однажды провожу занятия со студентами и вдруг вижу: входит он и садится у двери. Это бывало и раньше. Но на этот раз мне показалось, что он зашел неспроста, а чтобы доказать, что я сумасшедшая. Я похолодела от мысли, что вдруг скажу что-нибудь не то или забуду что-либо, и наследственное сумасшествие будет доказано. У меня так забилося сердце, что я действительно потеряла нить мыслей и в остолбенении несколько минут смотрела на студентов. Я не могла произнести ни одного слова. И, как в тумане, я увидела Лугова и услышала, как он сказал: «Товарищи студенты, лекция прекращается. Разве вы не видите, что Марина Николаевна больна?» Помню, я тогда неистово крикнула: «Мерзавец!» Больше не помню ничего. Говорят, я что-то разбила, куда-то побежала. Я очнулась после обморока... Ах, доктор, как все это страшно! — Она в отчаянии горько заплакала.

Беседуя с Мариной Николаевной, я начинала убеждаться, что психической болезни у нее нет. Передо мной был откровенный человек, правда чувствительный, с возбудимой нервной системой, с порывами, с какой-то сосудистой слабостью, выражавшейся в обмороках при сильных волнениях, слабостью, может быть переданной по наследству от алкоголика-отца. Никаких симптомов психической болезни и ничего такого, что мы называем бредом и галлюцинациями. Скорее это была психогенная, болезненная нервная реакция на неприятные переживания. Стало ясно, что по своему состоянию Марина Николаевна скорее нуждается в санаторном лечении.

Успокоив взволнованную женщину всеми возможными способами, я выписала рецепт на снотворное лекарство и объяснила все ее родственнику. Он сначала удивленно пожал плечами, потом искренне порадовался.

— Я так и предполагал, — сказал толстяк, — что это у них в роду. У моей жены тоже такое бывает, но в меньшей степени, и потом она приходит в норму...

Я думала о Марине Николаевне весь вечер. Хотелось понять, в какую ситуацию она попала. Сыграл ли роль в этой ситуации Лугов и какую?

Чтобы разобраться в этом, я на следующий день посетила больную на дому. Ночь она спала. Я увидела ее более спокойной и грустной, и снова долго с ней беседовала. На этот раз я твердо убедилась в психологической ситуационной основе ее «срыва». Теперь оставалось самое трудное, — логически доказать этой женщине, что ее временная болезнь — результат тяжелой для нее ситуации.

— Вы считаете себя больной? — спросила я Марину Николаевну.

— Да, по-видимому. Все говорит об этом. Я не умела себя сдерживать. Я не спала и не ела. Наконец, во время лекции теряла память.

— Но ведь это случилось с вами только один раз и в присутствии человека, который вам, кажется, сделал неприятность? Многие уже были осведомлены о вашем так называемом «болезненном состоянии».

— Вы же сами говорили, что я больная, — сказала она, взглянув на меня с укором.

— Да, в тот момент вы были больны. Но все дело в том, что это обойдется. А вообще-то было другое...

— Что же именно?

— Ваша временная болезнь — нервная реакция на тяжелую жизненную ситуацию. В этом я разобралась. Теперь настала ваша очередь заглянуть в свое недавнее прошлое.

— Недавнее прошлое, — повторила она и вдруг горько, по-женски заплакала.

Я сказала, что выхлопочу ей путевку в нервный санаторий. Вечером того же дня совсем неожиданно навестил меня Лугов. От прежней его уверенности не осталось и следа. Он был бледен, небрежно причесан.

— Хорошо, что пришли. Могу вам сообщить приятную новость: Марина Николаевна скоро едет в санаторий и будет совсем здоровой. Психической болезни у нее нет. Есть сильное нервное потрясение — залпом сказала я, чтобы скорее его обрадовать.

На лице Лугова мгновенно вместо радости и восторга выразилось недоумение, беспокойство, почти испуг. Он даже не сразу нашелся, что сказать, но когда, наконец, сказал, то, видимо, и на моем лице появилось недоумение и беспокойство.

— Не может быть, доктор! Это — неизлечимая душевнобольная!

Лицо Лугова вдруг стало жестким, неприязненным. Он продолжал:

— Доктор, я вами не доволен. Вы посылаете в санаторий сумасшедшего человека одного... Она может покончить самоубийством... Мало ли что может быть? Ответственность лежит только на вас. Вы меня простите за грубость, но это — результат врачебного недомыслия. И вы... только вы будете отвечать за это...

— Вы как будто хотите, чтобы я обязательно признала ее сумасшедшей? — задала я вопрос.

— Конечно! — вырвалось у него. — Ведь это так и есть!

— Любите ли вы ее? — не удержалась я.

Он приложил платок к глазам. Кажется, слезы были искренние.

— Вы меня удивляете, доктор. Допустим, что вы ее подлечите. Она на время успокоится, будет выглядеть совсем здоровой. Но ведь это в ней сидит! Это в нее вложено природой! Пройдет два — три года, и болезнь вспыхнет. А ее дети, если они будут? Ведь вы же врач! Кому знать, как не вам?

Я сразу поняла Лугова. Все стало ясно. Он, может быть, когда-то действительно любил Марину Николаевну. Но любовь исчезла, как только он узнал о наследственности. Он был поверхностно знаком с устаревшей идеалистической теорией неизменной наследственности, и это стало причиной его страхов и несчастья в личной жизни.

Он ушел, а я подумала: «Зачем ему официальное признание Марины Николаевны сумасшедшей, почему он добивается этого? Видимо, он ищет предлога, чтобы, не теряя уважения окружающих, отказаться от намеченного брака».

Этот человек стал мне неприятен.

Брак не состоялся. Впоследствии Марина Николаевна выздоровела, хотя потрясение для ее психики было тяжелым. Она успешно продолжала работать.

ИЗМЕНА

Когда Ольга бывала с мужем в театре или появлялась с ним в обществе, ее часто спрашивали:

— Это ваш отец?

— Муж! — с гордостью отвечала Ольга. Несмотря на разницу в двадцать лет, она очень любила своего мужа.

Да и можно ли было его не любить? Он был умен, заботлив, интересен. У нее с ним было много общего. Он — главный инженер, она — конструктор. Оба работали в одном учреждении. И разве он старый, если плавал быстрее ее, ходил на лыжах увереннее и был вынослив в работе, как юноша?

У Ольги были все условия для хорошей жизни. Горячая любовь мужа, уютная квартира. Они никогда не разлучались надолго. Последнее лето вместе провели у ее родственников на Кубани. Когда Ольга куда-нибудь уходила, Лев Адамович неохотно ее отпускал. — «Мне скучно будет, Олеся», — говорил он.

Однажды она собралась поработать в технической библиотеке.

— Олеся, ты опять уходишь? — спросил Лев Адамович и, как всегда, сквозь толстые стекла очков Ольга увидела знакомое выражение неподдельной грусти.

— Да, мой друг. Надо подготовиться к докладу.

— Ну, иди, — неохотно согласился он и спросил, скоро ли она возвратится.

— Часа через три.

Библиотека оказалась закрытой и Ольга вернулась.

— «Сделаю ему сюрприз», — подумала она и тихо вошла в квартиру. Раздался телефонный звонок. Ольга услышала

сдержанный голос мужа. Она прислушалась к приглушенным словам, но смысла не поняла.

— Встретимся у СКМ? Все готово? Когда? Сегодня в десять? Хорошо... и прибавил несколько слов по-французски.

«Что за странный разговор?», — подумала Ольга и решительно открыла дверь. Лев Адамсвич повесил трубку.

Сдержанность в голосе, странные слова, тревожное выражение лица и то, что он сразу повесил трубку при ее появлении, — все показалось Ольге необычным.

— Ты кому звонил?

— Это звонили мне по службе, — ответил Лев Адамсвич и крепко обнял жену; знакомое выражение радости снова засветилось в его глазах. Затем он сообщил жене, что сегодня в министерстве у него совещание.

— А ты куда не собираешься?

— Нет. Пораньше лягу спать, — солгала она, внезапно вспомнив телефонный разговор мужа и загадочное «СКМ».

«Что-то тщательно выбрился и галстук надел новый», — ревниво подумала Ольга.

Все происшедшее было так необычно, что она решила проверить мужа. Прежде она никогда этого не делала. Эта мысль и теперь оскорбляла ее. Но жгучая ревность заставила забыть все доводы рассудка. Быстро накинув пальто и платок, Ольга осторожно вышла вслед за мужем.

Был темный сентябрьский вечер. Моросил дождь. Изредка с деревьев слетали начинающие желтеть листья и прилипали к мокрой мостовой.

Лев Адамсвич торопливо шел вперед. У трамвайной остановки несколько раз взглянул на часы и быстро вошел в первый вагон трамвая. Ольга едва успела вскочить на ходу в прицепной. На пятой остановке он вышел из вагона и, перейдя на другую сторону, медленно направился вперед. Ольга устремилась вслед за ним.

«То спешил, а сейчас словно гуляет», — подумала она, стараясь не потерять его из виду.

Он пошел еще медленнее и вдруг оглянулся. Ольга наклонила голову и стала рыться в сумочке. «Только бы не узнал», — подумала она, чувствуя, как горит ее лицо. «Нет, не узнал», — решила она. Лев Адамсвич быстро скрылся в парадном большого дома. Она подождала секунду и вошла следом за ним.



Его тяжелые медленные шаги гулко раздавались в каменных сводах подъезда.

«Может быть, он просто зашел за кем-нибудь? Но тогда к чему это загадочное СКМ?». Вот поворачивает по лестнице. Опять поднимается... Остановился! Кажется, третий этаж. Звонит. Один, два, три, четыре, пять... Странно! Почему так много звонков? Может быть населенная квартира?»

Открылась и захлопнулась дверь. Ни одного слова не было произнесено. «Значит его ждали... К женщине пошел, если такая тайна...».

С бьющимся сердцем Ольга стала подниматься на третий этаж. Голова ее вдруг отяжелела. К горлу подкатил клубок.

Внизу хлопнула дверь. Кто-то быстро поднимался по лестнице. Она пошла выше. Негромко разговаривали двое мужчин. Если они начнут подниматься сюда, она пойдет им навстречу. Но голоса вдруг затихли. В просвет лестницы Ольге не удалось разглядеть людей на площадке третьего этажа. Она услышала пять отрывистых звонков. Дверь открылась и закрылась без единого звука. Ольга спустилась на третий этаж и, подойдя к двери, прочитала: «инженер Семен Казимирович Мигульский».

«Отдельная квартира, — подумала Ольга. — Почему же звонили пять раз?»

Она вышла на улицу и записала номер дома.

«Что же это такое? Может быть, холостая вечеринка? Но как он может мне лгать?»

Вечер показался Ольге еще темнее. Сырость липла к лицу, как будто туманом застилали глаза.

Дома Ольга быстро разделась и легла в постель. Мысли путались, и она никак не могла понять, что случилось.

«Семен Казимирович Мигульский», — произнесла она вслух, и внезапно стало ясным загадочное СКМ.

Она последовательно вспоминала разговор мужа по телефону и все, что произошло дальше.

В первый раз она почувствовала себя одинокой. Стала вспоминать свое прошлое. Жизнь ее сложилась так, что незаметно она потеряла друзей: Лев Адамович заменил ей всех. Теперь, когда у нее появилась мысль, что она может остаться одна, ей стало страшно.

Муж вернулся трезвым, чем окончательно сбил жену с толку. Она притворилась спящей и украдкой наблюдала, как он раздевался, лег и долго ворочался в постели. Он был явно озабочен. Наконец, послышалось его глубокое дыхание. Ольга смотрела на мужа широко открытыми глазами. При слабом свете ночной лампочки его лицо выглядело бледным, страдальческим. Ольга старалась в чертах любимого лица разглядеть правду. Но даже во сне оно



было непроницаемо, как маска. Тонкий, красивый изгиб рта, острый прямой нос, густые черные брови, высокий лоб и резкая проседь у висков — все это было ей так знакомо!

Спустя несколько дней раздался телефонный звонок. Ольга взяла трубку.

— Льва Адамовича нет дома, — ответила она.

— Передайте ему, что сегодня в одиннадцать вечера ему надо заехать по важ-

ному делу, он знает куда... в министерство. Скажите, звонил Мигульский.

— Хорошо, — ответила она и, ослабев, опустилась в кожаное кресло.

«Еще раз проверю», — решила она и написала мужу записку:

«Звонил какой-то Мигульский, просил тебя сегодня в 11 часов вечера заехать в министерство по важному делу. Я буду у Ельцовых. Твоя О.».

Телефона там нет, и он не сможет проверить. Ольга долго бродила по улице. Вечер выдался еще темнее, чем в тот раз, только не было дождя. К одиннадцати часам она была у дома, где жил Мигульский. Скоро показалась стройная фигура мужа. Он вошел в парадное, а Ольга следом за ним. Как и в первый раз, послышалось пять звонков. Дверь захлопнулась. «Вот оно, министерство!»

Был момент, когда Ольга хотела позвонить, ворваться в это таинственное убежище и сразу покончить с мучительным сомнением. Удержало благоразумие. Она решила до конца действовать осторожно.

Происходило что-то странное, но с кем? А вдруг она только набросит тень на любимого человека?

У Льва Адамовича и Ольги был общий друг и сослуживец — Гвоздев. Не было человека милее Гвоздева. Простое, открытое лицо. Веселый и добродушный, он всегда готов был помочь друзьям и товарищам. По крайней мере Ольга была о нем такого мнения. С ним-то и решила она поговорить и узнать, нет ли любовной истории у мужа?

На следующий день в обеденный перерыв Ольга встретила с Гвоздевым и ему все рассказала.

— Дорогая Ольга Ивановна! — с неподдельной искренностью воскликнул он, — откуда у вас такая нелепая мысль? Дай бог, чтобы еще кто-нибудь так любил, как любит вас Лев.

— Вы правду говорите?

— Он чист, как агнец... Я по секрету вам сообщу: ...готовится один проект... и авторы — мы...

Ответ Гвоздева успокоил Ольгу, и она сразу заметила яркий солнечный день и голубое небо.

Они шли по гранитной набережной широкой реки. Живописный блеск воды успокоил ее. Однако она спросила:

— Почему я никогда не видела работы мужа над проектом? Зачем такая конспирация?

— Тс... с... значит, так надо... Серьезные изобретения до поры следует тщательно скрывать...

— Ну, тогда я спокойна!

— Вы никому об этом не говорили? — равнодушным тоном спросил Гвоздев.

— Нет.

— Пока этого делать не стоит, а за Льва я ручаюсь. Ольга признательно пожала ему руку и почти совсем успокоилась.

Прошло две недели. Поводов к беспокойству не было, но в начале сентября у Ольги начался озноб и повысилась температура. Это заставило ее пойти в поликлинику.

Осмотрев Ольгу, врач рекомендовал исследовать кровь. В мазке крови, взятой из пальца, были найдены малярийные плазмодии.

Передавая рецепт на акрихин, врач высказал предположение, что, возможно, пациентка заболела малярией во время отдыха на Кубани, где эта болезнь еще появляется в отдельных местах. Объяснив Ольге, как принимать акрихин, он отпустил ее домой.

— Я не доверю тебя ни одному амбулаторному врачу, — заявил муж. — Ты будешь лечиться только у нашего друга Ивана Карловича Крофельда.

Вечером Лев Адамович привез жену к доктору.

Крофельд любезно улыбался, его водянистые голубые глаза выражали сочувствие. Он приставил трубку к груди пациентки, выслушал ее, а затем прощупал увеличенную селезенку.

Его руки показались Ольге холодными, липкими, как и его водянистый взгляд.

— У вас тяжелая форма малярии. Надо серьезно лечиться. Ассистентом я назначаю вашего мужа. Доверьтесь нам, и с малярией мы быстро покончим.

Крофельд вручил рецепты Льву Адамовичу и, добродушно улыбаясь, распрощался.

Вечером у Ольги повторился сильный приступ малярии. В последующие дни Лев Адамович никуда не ходил. Он много раз в течение дня давал жене желтые таблетки акрихина и какую-то микстуру.

Прошло несколько недель. Приступы малярии прекратились. Ольга решила не принимать больше лекарств. Но Лев Адамович продолжал давать ей большие дозы акрихина.

— Надо заглушить малярию, — настаивал он, заботливый и внимательный больше обычного. — Ты еще очень больна!

У Ольги кружилась голова, ее поташнивало, дрожали ноги, плохо спала по ночам, чувствовала странное напряжение во всем теле. Принимала акрихин, но лучше ей не становилось.

В выходной день пришли в гости два инженера и Гвоздев с доктором Крофельдсм.

Накануне Ольга не могла уснуть, но странное дело, она казалась более бодрой, чем всегда. Мало этого, она ощущала необычайное возбуждение.

После первой рюмки вина Ольга почувствовала прилив безотчетного веселья. Она хохотала, обнимала Льва Адамовича, мешала ему говорить по телефону.

Ольга видела озабоченное лицо мужа, слышала недоуменные вопросы гостей, но это ее веселило еще больше. Впечатления были ярки, стремительны, она не успевала их осмыслить.

Лев Адамович спешил закончить разговор по телефону. Ольга сзади обняла мужа и, вырвав трубку, с силой бросила ее на крышку рояля. Трубка разлетелась на куски. Ольга хохотала.

Вслед за резким звонком появился человек в белом халате. Он считал пульс, говорил о каком-то «экзогенном типе реакции». Слова были непонятны. Ольга задыхалась от хохота. Человек в халате был похож на Льва Адамовича, и Ольга пыталась его обнять. Двое санитаров потащили ее из квартиры. Теперь она была в состоянии гневного иступления. Она приняла санитаров за участников совещаний в квартире Мигульского и закричала, забилась в их руках. В последнюю минуту Ольга увидела около себя бледное лицо мужа. За толстыми стеклами очков тревожными и страшными казались его глубоко сидящие карие глаза, а рот нервно подергивался.

Вырываясь, Ольга задела его очки. Они упали на пол и разбились. Затем ее куда-то везли, а она словно забылась в тяжелом сне.

...Тусклый свет лампочки едва освещал огромную палату. Ольга открыла глаза и удивилась, что муж ввернул в люстру такую маленькую лампочку. «Сейчас, наверное очень поздно», — решила она и снова задремала. Разбудил плач какой-то женщины. «Странно, — подумала Ольга, —

кто может плакать в нашей квартире?» Хотела приподняться, чтобы выпить воды. Страшная тяжесть в голове потянула ее обратно на подушку...

«Пить хочется», — подумала Ольга и протянула руку к тумбочке, на которой всегда стоял графин с водой. Рука не нашла знакомого предмета. Это ее удивило еще больше, чем маленькая лампочка в люстре.

Напрягая ослабевшие мышцы, Ольга приподнялась на постели и огляделась. В плохо освещенной комнате стоял ряд кроватей. Вокруг двигались люди в больничных халатах.

«Это еще сон, — решила Ольга, — сейчас проснусь!» Широко раскрыв глаза, она увидела то же самое и начала цепенеть от страха.

Головокружение, тошнота мешали вспомнить, как все началось. «Где я? Как сюда попала?»

Стало невыносимо душно. Громко, редкими толчками билось сердце.

К постели Ольги подошла женщина. Размахивая широкими рукавами серого халата, она поманила Ольгу и вдруг, нахмурившись, удалилась в сторону. Ольга не разглядела ее лица, но горящий, напряженный взгляд женщины поразил ее. «Я в психиатрической больнице!» — в ужасе подумала она. Все сразу стало понятно. Отсутствие тумбочки с графином, синяя тусклая лампочка, плач...

Невероятная сила подбросила Ольгу с постели. Она бросилась вперед, к огромной двери, застучала в нее кулаками. Женщина с горящим взглядом устремилась прямо к ней и, схватив за рубашку, оттащила от двери. Ольга закричала диким голосом. Изнутри поднималось что-то мутящее, сдавливающее дыхание.

Прибежали санитарки, оттянули Ольгу от двери. Она сопротивлялась и иступленно кричала, но скоро обессилела.

Синяя лампочка, женщина, люди в белых халатах — все качнулось и поплыло. Во рту стало горько. Ольга вцепилась в чью-то руку, словно стараясь вылезти из душной ямы, но стремительно, неудержимо упала в темную глубину. Больше она ничего не слышала и не чувствовала...

В эту ночь я была дежурным врачом и меня вызвали к больной. Она лежала без сознания. Желтоватое лицо, частый, неровный, слабый пульс, расширенные, неподвижные зрачки, затрудненное дыхание — все это заставляло тре-

вожиться. Больной сделали подкожное впрыскивание сердечных средств и осторожно перенесли в отдельную спойную комнату — изолятор.

Подозревая острое отравление, я распорядилась произвести анализы, а больной промыть желудок и кишечник. К утру пульс несколько выровнялся, дыхание стало более глубоким. Больная пришла в себя.

— Где я нахожусь? — спросила она.

— В больнице.

— Нет... Это сумасшедший дом, — сияясь что-то припомнить, возразила она.

— Это больница и я — ваш врач.

— Как все смешно! — вдруг рассмеялась больная и попыталась вскочить с постели.

По ее напряженному лицу, по импульсивным поступкам видно было, что она еще не в полном сознании.

В палате осталась медицинская сестра, а я ушла.

В течение последующих дней больная начала ходить, но оставалась еще в том же состоянии. Легкая желтушная окраска лица не была похожа на обычную печеночную желтуху. Дежурные медицинские сестры записывали в дневник состояние больной. Отмечалось, что она еще плохо спит, не к месту весела и, видимо, галлюцинирует, что подтверждалось приступами внезапного страха.

Результаты специальных исследований показали наличие в организме большого количества акрихина и белладонны — яда, который в народе называют беленой. Видимо, больная без разрешения врача принимала не совместимое с акрихином лекарство, что и привело к отравлению.

— Как вы думаете, — спросила я старшего врача, — чем еще можно помочь больной?

— Сделайте спинномозговой прокол.

— Выпустить некоторое количество спинномозговой жидкости, чтобы облегчить внутричерепное давление?

— Не только это, но если окажется отравление...

— То яд можно обнаружить в спинномозговой жидкости?

— Конечно! — твердо ответил старший врач.

Я сделала прокол. Небольшое количество прозрачной жидкости было собрано в стеклянную пробирку и отправлено в лабораторию.

Исследование выявило наличие в организме большого количества акрихина. Вероятно, больная принимала его без

врачебного контроля. Вместо несомненной пользы, которую обычно приносит акрихин больным малярией, произошло отравление, при котором нормальная психическая деятельность нарушается. Причина болезни была найдена.

Скоро произошло знакомство и с ее мужем. О сущности ее болезни я умолчала. Опыт научил меня этому.

Искренность заботы мужа о жене не вызывала сомнений. Он много рассказывал о своей Олесе.

Я спросила его о дозах акрихина, которые принимала больная. Он вынул из бумажника подписанный врачом рецепт со штампом поликлиники и показал мне. Дозы были минимальные и не могли вызвать подобное состояние.

— Может быть, она принимала акрихин помимо этого?

— Это, пожалуй, могло случиться... Ей хотелось поскорее выздороветь и пойти на работу...

Он рассказал мне о начале ее болезни, подчеркнул, что в течение нескольких месяцев Ольга была неестественно подозрительна, высказывала его (он узнал это от товарища), высказывала ряд нелепых бредовых предположений.

«Может быть, — подумала я, — это начало шизофренического процесса, который просто совпал с лечением малярии? Но откуда и каким образом больная получила такое огромное количество акрихина?» Не верилось, чтобы так бесконтрольно лечил врач. Я позвонила в районную поликлинику к доктору, фамилию которого запомнила из рецепта. Врач сообщил мне, что больная была у него только один раз и он ей выписал минимальные дозы акрихина. Значит, имелся другой источник, из которого больная черпала акрихин.

Если произошло отравление организма, то следует не только оказать скорую помощь, но также выяснить, где, чем и при каких условиях отравлен человек. Мало того, надо не допустить и других случаев отравления людей. Условия отравления оставались неясными. С нетерпением я ждала полного возвращения сознания больной, но оно возвращалось медленно. По мере того, как из организма выводился акрихин, менялась и картина болезни. Напряженность и веселость Ольги сменились тоскливым, угнетенным настроением.

— Вас что-то тяготит? — спросила я ее. — Вы тоскуете, озабочены и поэтому плохо спите? Поделитесь со мной, расскажите о себе. Поверьте, вам станет легче.

Ольга неожиданно согласилась. Осторожными вопросами я втянула ее в дружескую беседу. Она рассказала мне о страстной любви к мужу, о ее «преступлении» перед ним. Винула себя за недоверие к нему, унижительную слезку. Она рассказала о друзьях мужа — докторе Иване Карловиче Крофельде, его методе лечения.

Рассказ больной о таинственном посещении Львом Адамовичем квартиры Мигульского заинтересовал меня.

— Удалось вам что-нибудь выяснить?

— Да, наш общий друг Гвоздев рассеял мои сомнения. — Больная сообщила мне и ответ Гвоздева.

После беседы с больной мне было многое неясно. Почему муж больной показал мне только рецепт на акрихин, выписанный врачом поликлиники, и ни слова не сказал о лечении жены у частного врача Ивана Карловича? Скрыл и то, что он руководил ее лечением. Почему друг дома Гвоздев так неясно ответил Ольге на вопрос. Кто эти люди, с которыми она советовалась?

Надо было и мне с кем-нибудь посоветоваться, чтобы разрешить свои сомнения.

Видимо, Ольга еще не совсем выздоровела и доверять ей полностью не следовало.

В больнице секретарем партийной организации был старый, всеми уважаемый терапевт Петр Андреевич К. Я рассказала ему об этой больной, о своих сомнениях. Он сам вызвался побеседовать с больной.

На следующий день Петр Андреевич так же, как раньше Гвоздев Ольгу, спросил меня:

— Вы никому не говорили о том, что рассказали мне?

— Нет.

— Прошу вас, помолчите денек-другой и, главное, ничего не говорите мужу больной.

Непривычно взволнованный, Петр Андреевич пожал мне руку и снова направился к больной. В течение нескольких часов он внимательно исследовал мою пациентку, читал историю ее болезни, делал какие-то пометки в своей тетради. Он вызвал лаборантку, которая по его указанию проводила специальные анализы.

Волнение секретаря партийной организации свидетельствовало о том, что отравление акрихином не случайное. Эта мысль не давала мне покоя. Несколько дней я не видела старого терапевта. Но скоро он появился — как-то вдруг и рано утром, еще до моего обхода больных.

Петр Андреевич плотно прикрыл дверь кабинета и сказал:

— Муж вашей больной и его сообщники арестованы. Их разоблачению помогла наша пациентка. Они изменники Родины! Думаю, что мы будем выступать свидетелями на судебном процессе...

— Мы?

— Да, мы!

БУДУЩЕЕ ПОКАЖЕТ

Пусть читатель представит себе невысокого, коренастого человека с густой шевелюрой каштановых волос, с бледным задумчивым лицом. Это доцент Аркадий Григорьевич Сосницкий, преподаватель литейного дела. В институт он приходил точно, минута в минуту. Его серые глаза постоянно выражают недовольство. Студенты избегают сдавать ему зачеты.

Только однажды в зачетную сессию лицо Аркадия Григорьевича озарилось улыбкой. Перед ним сидела студентка с пушистой светлой косой и, не опуская своих синих глаз, смело отвечала по экзаменационному билету. Маленькая загорелая рука уверенно выводила мелком формулы на черной доске, а экзаменатор невольно останавливал взгляд на стесненной фигурке девушки.

В зачетной книжке студентки стояли пятерки. Доцент без колебания поставил ей пять и особенно красиво расписался.

В этот день к экзаменуемым студентам Аркадий Григорьевич был не так строг и формален, как обычно. Теперь везде он стал замечать синеглазую с пушистой косой девушку. Студентка мелькала перед ним на зачетной сессии, в аудитории на его лекции, у подъезда института.

После встречи с Ниной Лариной его охватило такое настроение, словно он попадал в солнечный луч. Да и что в этом удивительного? Правда, ему уже тридцать четыре года, но выглядит он значительно моложе.

Однажды, проходя по бульвару на Чистых Прудах, Аркадий Григорьевич еще издали заметил на скамье Нину Ларину. Она читала книгу и коса ее спадала до колен.

Аркадий Григорьевич направился прямо к ней.

— Здравствуйте! — сказал он особенно вкрадчивым и красивым голосом. Девушка кивнула головой и радушно улыбнулась.

— Вас, кажется, зовут Ниной? — спросил он, хорошо зная, что ее зовут именно так.

— Да...

Аркадий Григорьевич уверенно завладел вниманием девушки, как завладевал слушателями на лекции.

— Вы так усердно читаете, что, верно, и в кино не ходите? — спросил он.

— Некогда... Все занимаюсь...

— Хотите, пойдем сегодня на «Веселые звезды»? У меня есть билеты... — неожиданно для себя солгал Аркадий Григорьевич.

— Хорошо, — просто согласилась девушка и встала, чтобы идти в институт.

Назначив свидание у кино «Ударник», Аркадий Григорьевич расстался с Ниной и молодецкато впрыгнул в отходящий автобус. Справившись с делами, он заехал домой, побрился и, пригладив свои густые брови, вдруг вспомнил, что билетов в кино у него нет. Надо было торопиться. Однако Аркадий Григорьевич выехал только тогда, когда тщательно разгладил электрическим утюгом складку своих брюк.

В кассе все билеты уже были проданы...

— А я вам, гражданин, говорю третий раз... билетов нет и не будет, — ответила кассирша, и деревянное окошечко захлопнулось перед самым носом расстроенного доцента.

— Вот так вагранка! — вслух произнес Аркадий Григорьевич и вышел к подъезду кино.

— Дядя... а дядя... купи три билетика, только сразу, а то мне некогда... Я хотел идти с братьями, но нам некогда... — произнес какой-то мальчишка.

— Чего тебе?! — сердито буркнул Аркадий Григорьевич, но вдруг сообразил, что речь идет о билетах в кино.

— На «Веселые звезды»?

— Да... Вы только не кричите. Пойдем за уголок к мосту...

Аркадий Григорьевич пошел вслед за мальчиком.

— Ты говоришь, три билета стоят пятнадцать рублей, но мне вовсе не надо трех билетов... Ты продай мне только два...

— Не желаете, не надо... Я лучше их сюда брошу..., сказал мальчуган, указывая на урну, и, презрительно сплюнув, отошел.

— Стой! Возьми, грабитель, — произнес Аркадий Григорьевич, вынимая деньги и отсчитывая десять рублей.

— Не выйдет, дядя... Мне нужно сразу продать три билета... Я сколько стоял... Да вот возьму и совсем не продам и все тут... — вдруг рассердился мальчуган.

— Да ведь ты заставляешь меня брать лишний билет! Вот я тебя к милиционеру потащу.

— За что? — смущенно сказал мальчик, крепко сжимая в кулачке билеты, и Аркадий Григорьевич увидел энергичное личико с негодующими глазенками.

— Не надо мне твоих билетов... Мне совсем не нужны твои три билета! — рассердился Аркадий Григорьевич.

— Скупяга! — сказал мальчуган и пошел в сторону.

Он был уже далско, когда доцент сообразил, что Нина придет через несколько минут, а билетов у него нет. Догнав мальчишку, он сунул ему пятнадцать рублей и с тремя билетами пошел к «Ударнику».

«Сейчас один билет сдам в кассу», — подумал он.

— Чем это вы расстроены? — спросила Нина, подходя к нему.

— Так просто... — ответил Аркадий Григорьевич.

Отдать билет в кассу он постеснялся.

После сеанса Аркадий Григорьевич и Нина до троллейбусной остановки шли пешком и непринужденно разговаривали, словно давно были хорошими товарищами.

— Знаете, Нина, все годы жизнь для меня имела мало интереса... Только теперь я понял, что жизнь имеет смысл...

Он хотел сказать еще что-то. Нина смутилась и перебила его вопросом:

— У вас, видно в жизни четкий режим?

— Да... У меня раз навсегда заведенный порядок. Я работаю не больше положенных часов... берегу себя...

И Аркадий Григорьевич рассказал об укладе своей холостой жизни, о работе.

Нина поняла, что общественная сторона жизни его почти не интересовала, коллектива он сторонился. Доцент рассказал также о своих родителях. Они приучали его быть бережливым, педантичным, соблюдать порядок во всем и везде.

— А где родители сейчас?

— Мать жива, здорова, — ответил Аркадий Григорьевич. — Отец помешался и умер, когда неожиданно сгорел наш дом со всем имуществом... Дело в том, что отец, отказывая себе во многом, постоянно стремился копить ценности. И когда все сгорело, то, естественно...

— У него не оставалось ни прошлого, ни настоящего, ни будущего?

— Да... — грустно согласился доцент и задумался. Потом грусть прошла, и Аркадий Григорьевич, не лишенный остроумия, шутил, а Нина весело смеялась. Они прошли весь мост и улицу до самого Арбата, где жила Нина.



На углу площади Аркадий Григорьевич остановился у цветочного ларька и купил Нине очень красивый, дорогой букет цветов.

— Какой он щедрый, — подумала Нина.

Мимо проезжали троллейбусы, шли плавной толпой люди, а Аркадий Григорьевич с воодушевлением говорил:

— Знаете, Ниночка, иногда такая встреча, как наша, может изменить многое... Вы очень хорошая девушка и недалекое будущее покажет...

Прошел месяц. Аркадий Григорьевич узнал, что Нина живет с матерью. Он стал присматриваться к семьям своих знакомых. Оказалось, что в одной семье бесконечные бытовые неприятности исходили от своенравной тещи. В другой семье теща была воплощением добродетелей. Она несла на себе всю тяжесть домашнего хозяйства и отлично воспитывала детей.

Закоренелый холостяк познакомился с матерью Нины, она ему понравилась. Однако «настоящее объяснение» он все откладывал со дня на день. Наконец день этот насту-

пил. Торжественное настроение захватило Аркадия Григорьевича, как мощная теплая волна. Он ехал в трамвае и думал о том, что в выходной день на карнавале, где-нибудь в парке, под большим деревом он назовет чудесную девушку с синими глазами своей.

Трамвай грохотал, а Аркадий Григорьевич думал о Нине, о будущем. Его мысли витали в облаках. Он не заметил, что Нина стоит сзади него и с нетерпением ждет, чтобы он оглянулся. Какая удивительная случайность.

— Гражданин, берите билет, — напомнила молодая кондукторша с сердитым лицом.

— Пожалуйста, — сказал Аркадий Григорьевич, и, немного порывшись в аккуратном кожаном кошельке, подал деньги.

Нина видела лицо Аркадия Григорьевича. Она знала — он думает о ней.

— Получите сдачу и билеты, — громко произнесла кондукторша.

— Какую мелочь набрала, — недовольно проговорил Аркадий Григорьевич.

С легким замиранием сердца Нина ожидала, что доцент быстро положит деньги в карман и обернется к ней.

— Боже мой, сплошная мелочь!..

Аркадий Григорьевич сунул билет в карман пиджака, переложил деньги в левую руку, стал их считать.

Пятнадцать... семнадцать... двадцать одна... тридцать... сорок две...

Нина с недоумением смотрела на человека, который совсем недавно преподнес ей такой дорогой букет, а теперь мучительно долго отсчитывает копейки.

Нина облегченно вздохнула, когда Аркадий Григорьевич, наконец, взял последнюю монету в правую руку. Однако он не спрятал деньги, а обратился к кондукторше...

— Милая, в сдаче не хватает пятнадцати копеек... Это нечестно...

— А вы посчитайте лучше...

Аркадий Григорьевич, недовольно покачав головой, что-то сказал на тему о нечестных кондукторах и принялся снова пересчитывать сдачу.

— Ну, что, гражданин, убедились?

— Извините,... сдача правильная... — несколько смутившись, ответил Аркадий Григорьевич.

— Интеллигентным еще считается... Не доверяет... Да где это видно? — ворчала сердитая кондукторша.

И долго еще слышался ее недовольный голос.

Аркадий Григорьевич оглянулся и увидел Нину. Радость встречи заслонила смущение.

— Так в выходной вместе на карнавал! — повеселевшим тоном спросил Аркадий Григорьевич.

Нина прямо посмотрела ему в глаза и устало, без улыбки сказала:

— Будущее покажет...

Сухо пожав руку недоумевающего доцента, девушка скрылась в станции метро.

Больше они не встретились.

Сосницкий обратился в психоневрологический диспансер по поводу бессонницы и стал моим пациентом. Расспрашивая его и Нину, которую мне удалось разыскать, я и узнала всю эту историю.

Помнится, писатель Л. Андреев говорил: мелочь тем и отвратительна, что она мелочь, что в одну коробку ее улягутся тысячи, что нет уголка в жизни, куда бы она не была напихана. Умирают и рождаются люди только раз, а мозоли носят на ногах десятки лет... И если человек не сумеет отвести мелочи ее надлежащее место, поддается ей, а поддавшись, сделает ее своим господином, он превращается в самое жалкое и нелепое существо в мире.

ПЕРСПЕКТИВА

Леонид Нежин был красивым, здоровым юношей. Живость характера и незаурядные способности, по мнению профессоров, сулили ему прекрасное будущее.

Но вдруг на студента Нежина одно за другим посыпались несчастья...

...Его отца, декана университета, неожиданно разбил паралич. Через пять дней больной умер. От глубокого нервного потрясения слегла мать. Сам Леонид во время похорон отца простудился и перенес крупозное воспаление легких. Долго он не мог оправиться, с трудом передвигался, был угнетен, вял, по ночам не спал от горестных мыслей. Половину учебного года проболев, потом врачи посоветовали ему отдохнуть. Мать буквально силой повела сына к профессору. После долгого осмотра профессор объявил:

— Вам, молодой человек, необходимо беречь свое сердце. Учитесь, но не напрягайтесь. Осторожность и предусмотрительность во всем должны быть вашим девизом.

Началась «жизнь больного». Мать, обожавшая сына, свято выполняла советы профессора. От Леонида искусственно отстранялось все, что, по мнению матери, могло повредить здоровью: ему запрещалось ходить, пить вволю чай, напрягаться над решением сложных задач и даже (!) долго оставаться на свежем воздухе. Казалось, что все несет с собой опасность. Время от времени Леонид прерывал учебу и снова подвергался анализам, делал уколы, соблюдал строжайший режим.

Наконец, он кое-как закончил физико-математический факультет. Ожидания профессоров не оправдались. Ничего

особенного из многообещающего студента не вышло. Он стал заурядным преподавателем физики. О большем нечего было и думать. Мешала болезнь.

— Ленья! Ты опять сидишь больше положенного. Милый, тебе это вредно.

Больной молча покорялся. Однако иногда он протестовал, и тогда снова, как в былые времена, раскладывал перед собой дорogie сердцу записи, и мысли летели легко и свободно.

Однажды произошла встреча, которую Нежин не мог предвидеть и о которой поэтому не мог предупредить мамашу. Девушка с глазами серны неотступно завладела всеми его мыслями. Леонид вдруг увидел красоту темного звездного неба и ощутил радость, от которой быстрее билось сердце. И тогда он сказал об этом матери.

— Ленья! Да разве тебе можно жениться?

Он решил подождать... Надо ли винить девушку! Она через год вышла замуж за другого.

Пережитое оставило преждевременные серебристые следы на висках Леонида. Иногда он удивлялся тому, что все его считают больным. Физически он ничего не ощущал и чувствовал себя здоровым.

Вскоре произошло печальное событие — умерла мать.

После ее смерти в связи с гриппом Леонид обратился к врачам, которые снова «нашли сердце». Летом Нежин поехал в Кисловодск. Старый, опытный доктор начал изучать больного. Было проделано все, что полагается: различные анализы, рентгеновские снимки, электрокардиограмма, многократные измерения кровяного давления.

Порозовевший от горного воздуха и щедрых лучей солнца, Леонид снова сидел у врача в кабинете.

— Должен вам заявить с полной ответственностью, что ваше сердце абсолютно здорово. И сомневаюсь, было ли оно больным. Может быть, после перенесенного воспаления легких у вас и наблюдалось временное, так сказать, функциональное заболевание сердца. Но ведь было это много лет назад. Все давно прошло...

Нежин ушел от врача растерянный, почти оглушенный. Он и сам не чувствовал никаких симптомов сердечной болезни и в то же время не мог, отказываясь верить своему здоровью.

В Москве он пошел на прием к профессору, у которого когда-то был еще с матерью. Профессор сильно постарел и,

конечно, давно позабыл о больном студенте. Он внимательно выслушал Нежина и сказал:

— Так вы, говорите, болели? Может быть... Сейчас от болезни и следа не осталось. Советую вам купаться в реке. Если плаваете, можете участвовать в состязаниях. Уверен, что ваше сердце выдержит все.

Итак, болезни больше не было. Но не было и радости. Леонид вернулся домой обескураженный. Здесь раз и навсегда заведенный порядок не менялся годами. В этих комнатах все было приспособлено к тому, чтобы щадить здоровье. Мягкие суковные туфли. Темно-зеленый абажур. Тишина. Полумрак. Но среди этого благополучия ему было тесно и душно. Вся его жизнь прошла в предосторожностях, опасениях, тревоге, страхе перед мнимой болезнью. Светлый путь научного творчества прервался. Личное счастье похоронено под ворохом врачебных диагнозов и рецептов. Не знал он радости, бодрости после занятий спортом, поэзии любви. Все заменила мнительность, подозрительное изучение своих ощущений. И вдруг — здоров!

Прошло несколько дней. Солнечное утро проникло узкой полосой света сквозь темные бархатные шторы окна.

Леонид потянул за шнур блока. Шторы бесшумно поползли в стороны. Он прошелся по комнате, настежь распахнул окно. В комнату ворвался свежий воздух. Перед ним раскинулась перспектива, полная простора и света.

— Давно бы надо так!

На ясном голубом небе выделялся силуэт рубиновой кремлевской звезды и ясная перспектива.

— Потеряно целых десять лет! Обидно. Но ведь не все потеряно! Жизнь всегда может дать новые весенние, зеленые побеги!

* *
*

Так все сравнительно благополучно кончилось, но некоторые мнимые болезни тянутся на протяжении всей жизни «больных», коверкая их судьбу и судьбу окружающих людей.

Древнейшая медицина Востока еще за два тысячелетия до нашей эры говорила: «Три орудия есть у врача: слово, растения и нож». Слово ставилось на первое место.

Практически слово врача может оказать либо полезное, либо вредное действие на человека. Слово врача может

породить неправильные представления о болезни, ухудшить состояние, вызвать длительную болезненную реакцию. Слово врача иногда оказывает решающее влияние на течение и исход болезни. Имеется много научных работ на тему о том, как по вине врачей возникают мнимые болезни. Известен термин «иатрогенный»: сочетание древнегреческих слов: *iatros* — врач и *gepaio* — произвожу. Болезнь, внесенная врачом.

Терапевт Р. А. Лурия в своих работах приводит следующий печальный факт. Одна женщина лечилась у известного клинициста. Он установил у нее компенсированный порок сердца и не раз, как говорила сама больная, спасал ее. Однажды профессор шутя сказал: «Вы можете вообще не беспокоиться о своем сердце — раньше меня не умрете, а если умрем, то вместе».

На следующий день клиницист скоропостижно скончался. Больная об этом узнала. Вызванный на дом врач нашел ее в состоянии крайнего волнения. Женщина говорила: — Я знаю, что должна умереть.

Через несколько часов работа сердца действительно резко ухудшилась, и к вечеру наступила смерть. Слова знаменитого врача сыграли печальную роль. Видимо, больная оказалась чрезмерно внушаемой, и сильное волнение прервало ее жизнь.

Мы знаем много мучеников, без конца измеряющих кровяное давление, температуру, пульс. Кто сотворил этих мучеников? Во многих случаях мы, врачи. Слово врача играет первостепенную роль, но значение имеет и почва, на которую падает слово. Врач любой специальности должен быть хорошим психологом, между тем психологическая сторона болезни иногда остается вне поля зрения.

«НЕ ХОЧУ»

Плач и шум в нервно-психиатрическом диспансере можно услышать нередко, но на этот раз в соседнем кабинете рыдание было особенно громким.

Кто-то плакал долго и горестно.

Я заглянула, чтобы узнать, в чем дело.

Красивая, но очень худая женщина продолжала всхлипывать, как ребенок.

Медицинская сестра поднесла ей в маленьком стаканчике валерьяновые капли. Она выпила, осушила глаза платком и, грустно кивнув головой, ушла. Врач Белова, работавшая психиатром восьмой год, смущенно улыбнулась и рассказала мне следующее.

— Несколько лет назад, когда я была ординатором клиники, ко мне в отделение поступила вот эта самая женщина, инженер-конструктор Софья Ильинична Купельская. Она была беременна. Поступила Купельская с диагнозом «депрессия» и утверждала, что готова на все жертвы, только не на сохранение беременности.

— Не хочу! Одна эта мысль приводит меня в ужас, — говорила она. — Я на ответственной работе. Необходимо закончить сложнейшую новую конструкцию автомобиля. От меня зависит многое, а вы хотите, чтобы я выбыла из строя на целый год. Это немыслимо. Это позор! Не хочу!

— Правда, я тогда стремилась ей внушить, что она не только инженер-конструктор, но и женщина, которая должна прежде всего выполнить долг, уготованный природой... Привела даже цитату отца медицины Гиппократ о том, что «неродящая женщина подобна пустоцвету».

— Оставьте доктор! Это ко мне не относится... — с раздражением отвечала она.

— И знаете, — продолжала рассказывать доктор Белова, — я тогда ее пожалела, направила на абортную комиссию, но все говорила: — Смотрите, Софья Ильинична, пожалеете, раскаетесь в «не хочу». Если разобраться, как ваше нервное расстройство — депрессия — зависит в значительной степени от «не хочу». Эта мысль вас тревожит и горит в вашем мозгу, как постоянный неугасимый очаг. Оттого вы страдаете бессонницей, не можете работать, угнетены, усиливается чувство тошноты...

— Нет, этому причина только беременность... — утверждала больная.

Когда Купельская недели через две после аборта пришла ко мне показаться, она действительно выглядела бодрой и здоровой. «Не хочу» больше не было для нее тяжелой проблемой. А через два месяца я ее не узнала на улице, такой бодрой, цветущей и жизнерадостной она мне представилась. Я тогда думала: «Может быть, она и права...»

— У нее так и не было детей? — спросила я.

— Нет. А недавно иду я по улице Горького со своей шестилетней толстушкой дочкой Лелей, вдруг к самому тротуару подкатывает новенькая «Победа», открывается дверца и меня окликают. Я не сразу узнала в истощенной, бледной женщине, выглянувшей из автомобиля, Купельскую. Она предложила нас подвезти.

— А это ваша дочь? — был ее первый вопрос, и я почувствовала в ее тоне досаду и нескрываемую зависть...

Когда мы уселись в автомобиль, Софья Ильинична заговорила первая: «Да, доктор, к сожалению, вы оказались правы. Я — пустоцвет...»

— Что с вами, Софья Ильинична? У вас на глазах слезы... Что-нибудь случилось? — спросила я.

— Да, конечно... Заедьте ко мне, доктор. Я живу совсем рядом...



Мы поехали.

Квартира у Купельской была отличная, просторная. Ее украшала прекрасная мебель, на стенах этюды Левитана и Айвазовского. На буфете сверкал хрусталь.

— Что-нибудь произошло с вашим мужем?

— Нет...

Моя дочь убежала играть в другую комнату, а Софья Ильинична закрыла лицо руками и горько заплакала.

— Сами видите, — говорила она, — все как будто у меня есть, и на работе меня ценят, а вот «не хочу» исковеркало мне жизнь... Помните, доктор, как вы меня отговаривали... Тогда я не послушалась. А теперь снова болею, но от другого... от мечты иметь вот такую, как ваша Леля, краснощекую кудрявую девчонку. Хожу, обиваю пороги врачей, и никто не может помочь... Говорят, что после аборта спайки какие-то образовались. Ах, доктор! Какой ужас быть женщиной-пустоцветом!

Теперь Купельская в тяжелом состоянии снова лечится у меня. Вы ее видели.

— Жаль... Красивая женщина, — заметила я, — у нее могли бы быть прекрасные дети.

Врач Белова закрыла историю болезни Купельской и заключила...

— Напрасно я тогда пожалела эту женщину и не подумала о ее будущем.

«БЛАГОРОДНЫЙ НАПИТОК»

Я отдыхала на одесском курорте в одном из санаториев. Моими соседями по столу были очень приятные люди: писатель Петр Иванович Долматов и его жена Людмила Петровна. Петр Иванович был высоким и очень веселым человеком. Он часто развлекал нас донскими казацкими песнями, импровизированными речами и тостами. Когда я однажды за обедом отказалась от рюмки вина, Долматов произнес блестящую речь в защиту «благородного напитка, который поднимает творческие силы, веселит, рождает смелые художественные образы»... «И только надоедливые пуритане-врачи могут утверждать, что вино разрушает физическую и психическую мощь человека». Долматов говорил громко. Слушатели наградили его шумными аплодисментами и дружно выпили за здоровье писателя. За ужином Петр Иванович обрадованно развернул только что полученный пакет и достал несколько экземпляров своей книги «Весна». Он торжественно преподнес мне один из них с дружеской надписью. Этот день был его триумфом, обитатели санатория поздравляли его с выходом книги.

Вечером мы долго беседовали.

— Знаете, — говорил мне Долматов, — настоящее счастье я вижу только в служении Родине, нашим советским людям.

И я видела, что он искренне гордится именно этим и радовалась за него.

Людмила Петровна, маленькая, тонкая брюнетка, обнимающая меня, восторженно шептала:

— Петр замечательный человек! Исключительный! Мы женаты пятнадцать лет и он хотя бы одно грубое слово

мне сказал. Всегда такой тактичный, мягкий. А какой талантливый! И ведь он еще молод. Вы знаете, он задумал новую книгу. Я уверена, что она будет еще лучше этой...

Вскоре я собралась уезжать. Тепло расставаясь с писателем и его женой, мы обещали писать, встречаться, но, как это часто бывает, постепенно друг о друге забыли.

Спустя пять лет жена Долматова по телефону пригласила меня в гости. Приглашение было совершенно неожиданное. Людмила Петровна сказала, что Петр Иванович по-прежнему пишет, но у него «все как-то не клеится». Я сразу поняла, что дело не в одном только желании «повидаться».

Я приехала к ним на квартиру. Мы радостно обнялись с Людмилой Петровной, и она повела меня в кабинет.

Петра Ивановича мы застали за столом. Он медленно пил из рюмки наливку.

— Значит, по-прежнему, Петр Иванович, да здравствует вино? — приветствовала я его.

— А, доктор! Очень рад.

Он допил рюмку и вдруг поморщился.

— Люся, — сказал он раздраженно, — сколько раз я тебя просил, чтобы ты не покупала мне наливки, а только «русскую горькую». Черт знает, что! Из-за этой дряни сегодня целый день не работает голова.

Как выяснилось из дальнейшего разговора, Долматов уже целый год не работал. Он рассказал мне, что брался за книгу несколько раз, но все «не клеится». Правда, замысел новой книги был уже разработан, но дальше этого дело не двигалось. Впрочем, Петр Иванович не сомневался, что напишет гораздо более значительную книгу, чем «Весна». Он выпил еще рюмку и, приняв шутовски горделивую позу, начал декламировать «Памятник» гениального русского поэта:

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн и... и...»

— Запомняли?

— Нет, что вы, у меня прекрасная память! финн и... и... А, бросим поэзию, куда лучше выпить. И он без смущения снова потянулся к рюмке.

Я смотрела на Долматова. Он выглядел бравым казаком с большим выпуклым лбом, с серыми добрыми глазами, с торчащими белесыми бровями, с улыбкой, освещающей

все лицо. Только лицо это выглядело постаревшим, пожалуй, обрюзгшим. Он очень пополнил. Говорил много, часто острил. Шутки были плосковаты, не всегда к месту. Он производил впечатление пустого балагура, хотя на самом деле таким не был.

— Да, вот, доктор, я вам сейчас покажу последний мой очерк.

Петр Иванович стал перебирать бумаги на письменном столе.

— Люся! Кто у меня здесь рылся? Куда девалась рукопись?

— Со вчерашнего дня к тебе никто не входил.

— Вчера я оставил ее на столе... Где рукопись? — вдруг раздраженно спросил он.

Жена в недоумении смотрела на мужа, и я видела в ее глазах слезы. Мне было не по себе. Я не узнавала Долматова — этого корректного человека, от которого жена никогда не слышала грубого слова.

— Вот твоя рукопись, — указала Людмила Петровна на маленький столик. Долматов по рассеянности положил ее туда, около графина с наливкой.

— Фу, черт! Я действительно вчера сам сюда ее положил.

— Не вчера, а сегодня, — поправила жена.

— Ну, прости меня, Люся!

Переглянувшись, мы с Людмилой Петровной вышли из кабинета.

— Петр так изменился!.. — сказала она мне.

— Вашему мужу надо было бы полечиться от алкоголизма в больнице, — посоветовала я жене.

— Что вы! Это неудобно... Он писатель.

«Вот оно, начало конца!» — думала я, возвращаясь от Долматовых. — Мимолетное настроение, любой аффект подчиняют себе его мысли и волю. Вот он несправедлив, груб с женой. Но пройдет одна минута, он с наслаждением выпьет рюмку водки и начнет слезливо раскаиваться в своих поступках. Алкоголь делает его хвастливым, лишает прежней выдержки, настойчивости... Талант угасает, память слабеет. Главное же в том, что человек этого не замечает, не может критически относиться к своим поступкам.

Визит оставил тяжелое впечатление. К Долматовым я больше не заходила. Но как я, врач, прошла мимо этого человека и не оказала ему помощи? Еще и теперь, много

лет спустя, не могу простить себе равнодушия к его судьбе. И меня нисколько не успокаивает то обстоятельство, что подобное же равнодушие присуще иногда и другим людям, которые, вероятно, ожидают, как и я в свое время, пока их не позовут оказать помощь...

Через год у Долматова обнаружилось тяжелое заболевание печени — цирроз. Ткань важнейшего кровотворного органа не выдержала алкогольного яда. Писатель вынужден был пить значительно реже, но иногда «срывался» и отдавал дань коварному алкоголю. Резкое ослабление памяти и дрожание рук не давали ему возможности творчески работать.

Новая книга так и не была написана.

«АПОЛЛОН»

Воздух был прозрачен, насыщен морской влагой и ароматом магнолий. Вдоль берега торжественно, как колонны, стояли пальмы. Томило одно желание — броситься в море и плыть... Не раздумывая, я так и сделала.

«Вот оно, счастье!» — думала я, вглядываясь в прозрачный хаос зеленых водорослей и камней морского дна.

Выжав мокрые косы, я оделась и по узкой тропинке направилась в гору, к санаторию. На повороте высокого берега показался мужчина в белых брюках и голубой тенниске. Он закурил папиросу, с наслаждением втянул струю дыма и залюбовался морской далью.

«Греческий бог Аполлон сошел на землю», — подумала я. Рельефность мышц незнакомца свидетельствовала о большой физической силе, а белокурая голова с высоким лбом и легкой горбинкой носа четким силуэтом выделялась на фоне голубого неба.

При моем приближении мужчина сразу перестал курить и бросил папиросу.

«Удивительно вежливый человек», — подумала я.

Тропинка была узкой, и разойтись на ней не представлялось возможным. Когда мы оказались друг от друга на расстоянии нескольких шагов, мужчина улыбнулся и сказал:

— Нам предстоит решить проблему козлов из сказки, то есть заставить вернуться вас или меня пойти вместе с вами. Преимущество на вашей стороне...

Мы рассмеялись и стали подниматься в гору.

«Аполлон» оказался солистом филармонии и назвал себя Иваном Даниловичем Галушаком. Он рассказал, что

приехал в Крым к больной сестре, просил навестить «ридную хату» и обещал познакомить с невестой.

Охотно приняв предложение «побывать в гостях», я расталась с милым, словоохотливым собеседником. Спустя неделю я сдержала свое обещание.

Маленький белый домик с уютной солнечной верандой, утопающий в кустах розовых душистых олеандров, казался мне зеленым островком.

Встретила меня худощавая светловолосая женщина с приветливым бледным лицом. У нее был такой же высокий лоб, «породистый» с горбинкой нос, как у брата, добрые серые глаза и очень бледные губы. Внешнее сходство дополнялось схожестью характеров. Несмотря на болезненное состояние, Мария Даниловна была гостеприимна, смешлива и разговорчива. От нее я узнала, что брат и сестра рано потеряли родителей. Старшая Мария заменила Ивану мать. И говорила она о нем, как мать о родном сыне. Мне стало известно, что Иван лауреат конкурса, «каких билый свит не бачил». Лучше Ивана «никто в билом свите не играл». Не было на белом свете, по мнению сестры, человека добрее и лучше брата. Под секретом в первую же встречу Мария Даниловна сообщила:

— Половину премии Иван отдал государству на оборону страны, а другую купил домик на море и подарил мне для поправки здоровья. Только, бога ради, Ивану не говорите.. Страсть не любит похвалыбы...

Скоро пришел и сам лауреат. Он долго водил меня по саду и с увлечением пояснял особенности каждого растения. До него я и не подозревала, что жизнь растений так интересна.

Уже два года бездетная вдова Мария Даниловна вела здесь свое цветущее хозяйство и справлялась с ним так хорошо, словно прожила здесь целую жизнь.

Пришла невеста «Аполлона». Маленькая миловидная брюнетка вначале не произвела на меня никакого впечатления. Однако уже через час я была уверена, что более очаровательного существа никогда не встречала.

Аня была настоящей лучезарной чеховской Аней из «Вишневого сада». Особенно чудесны были ее голубые глаза с темной каемкой ресниц. Прямые волосы были закручены в тугий узел, и чистый голос звенел, как у ребенка. Светлы и полны радостных надежд были анины мечты. Работая и помогая своей больной матери, Аня училась в



заочном отделении педагогического института и мечтала стать сельской учительницей. Казалось, что жизнь ее будет очень счастливой, и я чистосердечно этому радовалась.

После дружеской беседы меня принялись угощать.

Кроме арсманного украинского борща, мне пришлось одолеть кусок утки с гречневой кашей, вареники со сметаной, медовые пампушки и много других яств. Когда хозяйка дома приносила все новые и новые кушанья, Аня, заливаясь серебристым смехом, отказывалась, а потом, «откушав», восторгалась и съедала все до конца.

«Аполлон» налил гостям виноградного вина, а себе чарку водки и залпом ее выпил.

— Смотрите!.. — удивилась Аня, — и не поморщился!

«Аполлон» не только не поморщился, но стремительно выпил еще и сказал:

— Древние греки и те никогда не обедали без вина, ну, а нам и подавно можно.

— Греки вино разбавляли водой... — вставила Аня и звонко засмеялась.

— А мы без воды... это здоровью куда полезнее.

«Аполлон» поспешил выпить третью чарку и затем произнес речь, в которой опроверг «вред алкоголя».

— Я ежедневно перед обедом выпиваю одну рюмку водки и со мной, как видите, ничего дурного не происходит... Насборот, все мои товарищи говорят, что это полезно — улучшает аппетит...

— Ты выпил сегодня три... — засмеялась Аня.

— За тебя, Анюточка, я выпью и четвертую...

«Аполлон» потянулся к графину, но в это время сестра вступила в права хозяйки и, завладев сосудом, скрыла его на подоконнике за занавеской с красными петушками.

Нельзя было более наглядно подтвердить мнение, что алкоголь не приносит вреда здоровью, тем более что защитник этой теории имел такой цветущий, здоровый вид. Все же я привела из истории примеры того, как губили свои таланты и здоровье пьющие...

Вскоре мне предстояло уехать из Крыма. Мой отъезд «Аполлон» отметил «мускатом» и «горилкой». Снова в той же компании мы сидели в маленьком солнечном домике. От второй рюмки вина я и Аня отказались. «Аполлон», выпив «вторую чарку горилки», взял скрипку и начал играть.

Ароматный теплый вечер, шум моря и дивные звуки скрипки — все слилось в одну прекрасную симфонию счастья. Я забыла, что вокруг люди... В заходящих лучах солнца глаза Ани искрились теплыми егоньками. А Мария Даниловна притихла, даже побледнела и задумалась. Где мы? Что произошло? — опомнилась я, когда замерли последние звуки скрипки.

«Аполлон» уже положил на стол свой инструмент и вытер платком лоб.

Скромная Аня вдруг рванулась к нему. Забыв о нас, о целом свете, она обняла его и прижалась головой к его широкой груди. Слова казались лишними. Я пожалала его большую теплую ладонь.

— Ну, как с таким братом не выздороветь? Как свадьбу не сыграть? — говорила Мария Даниловна с порозовевшим от лихорадочного румянца лицом и стала собирать вечерний чай.

Прощаясь со мной в этот вечер, «Аполлон» радостно улыбался.

На следующий день я покинула благодатный берег Крыма.

Мы обещали писать друг другу, но за множеством дел и забот так и не собрались.

Спустя несколько лет на бульваре Москвы я встретила Аню с трехлетним ребенком. Она радостно меня обняла и начала рассказывать обо всем, что произошло с момента нашей разлуки — о ее замужестве с «Аполлоном», о ребенке, о счастье... Вдруг искорки, вспыхнувшие в голубых глазах Ани, померкли, и она замолчала. Мы прошли с ней в отдаленный уголок бульвара и присели на скамью.

Теперь я увидела, как Аня исхудала, побледнела и, видимо, что-то хочет, но не решается мне сказать.

— А Мария умерла, — сказала она вдруг и, как ребенок, всхлинула.

Ее маленькая дочка прижалась к ней и тоже всхлинула...

— Иди, Нина, поиграй!... Я нарочно... — сказала она, проглотив слезу.

Дочь вяло играла в песке, а мать говорила:

— Не то... не то я говорю... я о нем вам сказать хочу... Поженились мы... Такое счастье было! Он играл, все рукоплескали, а я... Я хотела кричать: он мой! Только мой! Не крикнула я... Заплакала от счастья.. А сейчас ведь он гибнет!

— Болен?!

— Нет, пьет...

И Аня с горечью рассказала мне, как постепенно, начав с рюмки вина перед обедом, «Аполлон» сильно запил после смерти Марии Даниловны.

— На нервной почве, — говорила Аня, — у мужа появилась дрожь в руках: пальцы не попадали на струны, он обливался потом, не владел струнами... Пришлось ему оставить симфонический оркестр... Теперь играет на кларнете в духовом...

Аня радушно звала меня зайти к ним. Я пообещала, да так и не зашла. Помешал отъезд в командировку...

Прошло еще несколько лет. Я была на дежурстве в психиатрической больнице.

— Ну, доктор, нового гренадера привезли! — посмеиваясь, сказал фельдшер. — В ванной чуть всех не раскидал. Силаща богатырская. С великим трудом утихомирили...

— Больной принял ванну?

— Да.

— Приведите...

— Можно.

В дверях ванной комнаты показался широкоплечий мужчина. Он шел, пошатываясь, прислушиваясь, и, видимо, под влиянием страха сделал несколько шагов назад. Затем остановился и, подкравшись, что-то поймал на стене. В полусвете трудно было разглядеть его лицо, но фигура показалась мне знакомой. Тонкий профиль воскресил в памяти образ «Аполлона».

От телефонного звонка он сильно вздрогнул. Руки его заметно дрожали. Не здороваясь, он грузно сел в кресло и хрипатым голосом сказал:

— Выпить бы...

— Воды?

— Водочки...

Заискивающее хихиканье резнуло слух.

По-видимому, мой старый знакомый меня не узнал, но он понимал, что перед ним врач.

— А где ваша жена? — спросила я.

— В родильном доме... Сынка ожидаю... — равнодушно ответил он.

Когда-то красивое лицо «Аполлона» теперь побурело, стало землистым. За отечными вспухшими веками почти не было видно глаз. Он постарел, обрюзг. Капли пота стекали с высокого бледного лба.

Медицинская сестра поднесла ему стопочку бехтерева микстуры, уверяя, что это водка.

Не замедлив, он выпил, видимо, не понял вкуса, крикнул и попросил закусить. Санитар дал ему бутерброд; «Аполлон» ел и, довольный угощением, шутил, и даже пробовал рассказать не совсем приличный анекдот. Не досказав анекдота, к чему-то прислушался и, погрозив в пустой угол пальцем, съезжился.

— Вам холодно? — спросила я.

— Да, морозит как будто...

Запах алкогольного перегара пахнул мне в лицо. Дрожащими руками больной неправильно застегнул халат. Ему не сиделось. Внезапно зрачки его расширились от ужаса. Он шараясь в сторону, но, очевидно, под влиянием принятого лекарства вскоре снова немного успокоился, и я смогла приступить к обследованию моего нового пациента.

Больной не мог назвать района Москвы, где находился. Не знал числа и месяца. Отвечал на вопросы охотно, но был тревожен, часто оглядывался. Сознал свою вину

перед женой Один раз, вспомнив о ней, всплакнул. Во время разговора несколько раз сердился за то, что никак не мог сосредоточить внимания на заданном мной вопросе. Пощупав пульс, я отметила сердечную слабость и назначила сердечные капли. К вечеру температура у «Аполлона» поднялась, тревога и напряжение усилились настолько, что его пришлось перевести в беспокойное отделение. К утру состояние ухудшилось, он то вскакивал и со страху порывался куда-то бежать, то с беспокойством заглядывал под кровать, ловил что-то на своей одежде или испуганно и виновато прислушивался к бранным словам, которые якобы «доносились» с разных сторон. Повышенная температура и беспокойное состояние держались несколько дней. Это была так называемая белая горячка.

Надо было быстрее начать серьезное лечение. Больного тщательно осмотрел терапевт, были проделаны все анализы. Оказалось, что могучий организм музыканта сильно поврежден алкоголем. Просвечивание грудной клетки подтвердило, что сердце увеличено, мышцы его не по возрасту дряблы, расширены кровеносные сосуды. Было установлено начало тяжелого заболевания печени, которая намного выступала из-под ребер. Малейшее прикосновение к ней вызывало резкую боль.

Вынужденное лишение водки было для «Аполлона» крайне мучительным. Он не спал, просил «только одну рюмочку», умолял, плакал, требовал, грозил всех убить. Руки у него тряслись. Он не мог удержать папиросу. Озноб сотрясал все его тело, холодный пот обильно смачивал лоб. Мы силой уложили больного в постель. Чтобы облегчить страдания и прекратить неприятные ощущения, сделали ему несколько инъекций инсулина и вливания глюкозы. Ежедневное впрыскивание инсулина — средства, регулирующего углеводный обмен, а также введение в кровь глюкозы помогали организму справиться с тяжелыми явлениями расстройства обмена веществ. Для быстрой ликвидации алкогольного отравления больному вводили под кожу кислород и поддерживали работу сердца укрепляющими средствами. Только потом, когда музыкант вышел из состояния отравления, мы начали лечить его от алкоголизма.

Научными экспериментами доказано, что если алкоголику впрыснуть под кожу раствор рвотного средства — апоморфина и, одновременно давая нюхать водку, внушать, что запах ее будет вызывать тошноту, то, повторяя подоб-

ный прием, можно выработать у больного стойкий условный рефлекс отвращения на прием водки и даже на ее запах. Музыканта мы и лечили именно этим способом с последующим курсом гипноза.

Много позже «Аполлон» узнал меня и, смущаясь, припомнил кое-что, пережитое во время белой горячки.

— Когда я прибыл к вам в больницу, — рассказывал он, — то никак не мог понять, где начинается и кончается коридор. Совсем запутался. На одной площадке был поражен страшным зрелищем. Существо огромной величины и неопределенного пола в черной мантии протянуло ко мне руки... Я, естественно, отпрянул в сторону, но руки делались длиннее и вот-вот должны были меня схватить. Я закричал... на минуту все исчезло, но тревога меня не покинула. Со всех сторон я ожидал нападения врагов и всевозможных козней. Никто не слышал «его», но я утверждаю, что слышал голос глухой и громкий, словно из бочки: «Ты никуда не уйдешь! Пропойца! Бездельник!... Через десять минут тебя посадят на электрический стул... Четвертуют...» Я понял: «надо быть ближе к медицинскому персоналу». Старался идти ровным шагом, показывая «ему» свое бесстрашие. Попросил у санитаря закурить. Тот дал папиросу и коробку спичек. «Закуривай при мне!» — приказал он, а голос сверху подсказал: «Попробуй!» Взглянув на спокойное лицо санитаря, я открыл спичечную коробку, но там сидели микроскопические розовые поросята и тихо, чтобы слышал только я один, хрюкали: «Пьяница, пьяница, пьяница!» Я с презрением бросил спички в лицо санитаря и понял, что здесь все «заодно». В окна ворвались звуки симфонического оркестра, играли «Рапсодию» Листа. Я стал дирижировать, чтобы показать этим дуракам, кто такой «Я». Но ритм музыки все учащался, а я почувствовал, что не успеваю. Слабость, бессилие и злоба заполняли меня все сильнее. Наконец, бешеный ритм музыки едва не разорвал мне сердце. И снова голос из рупора сказал: «Сейчас выдохнется, и мы его возьмем...» Нет! — закричал я, падая, пораженный внезапно окружившими меня зверями, чертями, чудовищами. Они выступили как-то вдруг, из всех углов палаты и разом заговорили. Я лежал повернутый ниц. Они постепенно приближались ко мне, пощелкивали зубами и злорадно шептали: «Надо разорвать его на куски». Другие доказывали: «Пожалуй, следует помягче, лучше повесить...» Существо, похожее не то на

мышь с человеческим лицом, не то на недотыкомку Сологуба, притащило скрипку и приказало мне играть. Я взяла смычок, но перед глазами поплыли клубы дыма. Удушающий запах горячей канифоли стеснил мое дыхание. Я понял, что в скрипку положили раскаленный уголь. Незаметно, перевернув скрипку, я увидел, как горящий уголь упал на пол. Внезапно вспыхнул пожар, я вместе с чудовищами бросился бежать и провалился в бездонную пропасть.

Постепенно «Аполлон» оправился от белой горячки. Он выписался здоровым, хотя далеко уже не таким, каким был в момент нашей первой встречи.

Прошло несколько лет. Началась Великая Отечественная война. Однажды я возвращалась домой с работы. Мое удивление было беспредельно, когда я увидела бодро шагающего мне навстречу трезвого «Аполлона». В военной форме, в каракулевой кубанке он выглядел лихим казаком.

— Доброго здоровья, доктор! — приветствовал он меня и так пожал мне руку, что я с трудом расправила пальцы.

— В армию, значит?

— Конечно! А как же иначе? Дорогой доктор! — потрясая мою руку, говорил «Аполлон», — как радостно быть здоровым, иметь возможность защищать русскую землю! Свою землю! Свою Родину! Доктор! Идемте с нами! Вы будете перевязывать нам раны и проповедовать вред алкоголя! — он рассмеялся, а я поразились здоровому блеску его умных, живых глаз.

И когда мы дружески расстались, я долго ощущала радость от мысли, что «Аполлон» выздоровел окончательно и навсегда. Впоследствии из газет я узнала, что он отличился в бою и был награжден орденом.

ЧЕЛОВЕК С «ЗАСЛУГАМИ»

Доктор! За что я кровь проливал? — ударяя себя в грудь и всхлипывая, говорил больной Лунин. — Вот, смотрите...

Он распахнул халат, и я увидела богатырскую волосатую грудь, на которой не сразу можно было заметить старый небольшой шрам.

— Вот. Имею ранение, три раза контужен, два раза засыпан землей. Всю войну прошел... А что заслужил? Хожу тяжелобольной, раздет, разут, никто внимания не оказывает... Обидно, товарищ доктор...

И Лунин так сильно ударил себя по груди, что я услышала глухой звук.

— Но вы физически еще крепки.

— Какое там крепко! После каждого припадка по два дня без движения валяюсь.

— Вы помните, как проходит у вас припадок?

— Ничего не помню, хоть убейте! Вот разбил голову и не помню, когда...

И Лунин действительно показал мне свежий кровоподтек на голове.

— А после того, как вышли из госпиталя, работали?

— Нет... С 1942 года усилились припадки, и мне уже больше не давали работать... Врачи исковеркали всю мою жизнь... не допускали к работе...

Я смотрела на Лунина. Лицо его было полное, с нездоровой алкогольной одутловатостью, но выражение его было простое, доверчивое. Когда он улыбался, лицо казалось почти симпатичным. Но громкие шаблонные фразы Лунина о его достоинствах и заслугах, битье в грудь вызывали

недоверие. Из рассказа Лунина о жизни, а также из истории болезни я узнала, что он, работая бухгалтером, часто выпивал. Выпивки требовали денег. Однажды Лунин попался в «неправильном выписывании зарплаты», в мошенничестве. Судили. Защитник сказал речь, в которой указал на хорошее прошлое Лунина и его молодость, «а молодость требует снисхождения». Суд ограничился направлением его на исправительно-трудовые работы.

Теперь Лунин пил уже систематически и давно не числился хорошим работником. Стал ленивым, отошел от коллектива, проводил досуг среди собутыльников.

В 1941 году был мобилизован. Контузия воздушной волной от разорвавшегося снаряда вскоре привела его в госпиталь. Через несколько месяцев Лунин совершенно оправился от болезни. Но в армию не вернулся, продолжал выпивать и пошел по учреждениям требовать «компенсации за раны и контузии» и особого внимания ввиду каких-то мифических воинских заслуг и выдуманного нервного заболевания. Когда ему отказали в курортном лечении, он в пенсионном отделе упал на пол в диком истерическом припадке. Малодушные врачи направили его на лечение в нервную клинику, затем в санаторий. А там все пошло, как устелось Лунину. Когда нужно было чего-нибудь добиться, он падал в неистовом припадке. Так ему удалось получить материальные блага и пенсию.

Наблюдая Лунина, я все больше и больше проникалась к нему недоверием. Он заметил это и решил действовать иначе. В разговоре со мной взял иронический и дерзкий тон. Когда я однажды спросила, почему он, физически здоровый человек, не работает и злоупотребляет алкоголем. Лунин побагровел.



— Вы всегда так разговариваете?

— Всегда...

— Вы психиатр? — ядовито улыбнулся Лунин.

— Да.

— Так какого черта вы смеете так разговаривать с психически больным? Я не отвечаю за свои поступки...

— Вы ответственны за свои поступки! — убежденно сказала я.

Он яростно хлопнул дверью и выбежал в коридор.

— Имейте в виду, я напишу на вас, куда следует, — кричал он.

В палате Лунин разбил тумбочку, разорвал на себе больничную рубашку и с грубой бранью выгнал медицинскую сестру. Меня он долго обливал потоком ругани.

— Если вы будете продолжать безобразничать, то мы завтра вас выпишем и сообщим о вашем хулиганстве в райсобес, — сказала я.

— Это о психически больном человеке? Пишите! Я тоже напишу, тогда попомните.

Утром Лунин рыдал, каляся, все взваливал на «болезнь». Слабым, больным голосом, не забывая подчеркивать свои «заслуги» на войне, с кажущейся искренностью отвечал на вопросы.

— Скажите, почему ваша жизнь заполнена заботами о получении пособий, льгот, путевок в санатории, тогда как вы могли бы жить нормальной трудовой жизнью, как все советские люди?

— Но мне не дают работать, — трагически сказал Лунин, — каждый раз вы, врачи, снимаете меня с работы...

— Значит, вы так ведете себя, что вас приходится изолировать от общества...

— Вы намекаете, что я — симулянт? Я... бывший доброволец... симулянт? — Лунин побагровел и, рухнув на пол, забился в припадке, который ничего общего не имел с эпилепсией.

Так иногда падают и бьются капризные, испорченные воспитанием дети.

— Не держите! — сказала я персоналу и сбежавшимся больным.

На следующий день Лунин, злой и подавленный, вошел ко мне.

— Зачем вы доводите себя до припадка?

— А разве у меня был припадок?

— Да.

— Ничего не помню, хоть убейте! Вот только ушиб на плече...

Уходя после беседы в палату, Лунин сказал:

— Вы поступили со мной не как врач. Вы бросили меня без всякой помощи во время припадка.

— Значит, вы помните, как он проходил у вас?

— Нет.. Мне сказали, — ответил он и мрачный вышел из кабинета.

Он ошибался, думая, что я его считаю симулянтом. Это был не совсем здоровый человек, усиливший легкие нервные симптомы бывшей контузии. Лунин усиливал их искусственно, преувеличивал свою болезнь с целью вымогательства пособий и прочих благ. Таких людей мы называем агравантами. Аграванты бывают другого рода, так сказать, и бескорыстные. Они усиливают свое болезненное состояние, так как получают психическое удовлетворение от того, что их считают тяжелобольными, а это еще больше утверждает их в избранной позиции и в конце концов действительно усиливает болезнь.

Две недели Лунин вел со мной напряженную борьбу.

На врачебной комиссии, где председательствовал старый опытный специалист, Лунин опять перечислил все свои заслуги и как бы невзначай сказал:

— Я инвалид третьей группы, думаю хлопотать о персональной пенсии. Как вы думаете, товарищ профессор, буду я когда-нибудь жить, как все? Измучился без работы. Товарищи работают, устроили свою жизнь, а я...

— Вы пьете и впустую прожигаете свою жизнь; от этого и здоровье ухудшается...

— Что вы, доктор... Разве я алкоголик? Посмотрите на других... Только и выпью, что сто граммов для аппетита.

Председатель на этот раз ничего не ответил и, пообещав дать заключение, вполне соответствующее просьбе Лунина, написал: «В целях правильного трудового жизненного устройства гражданину Лунину группу инвалидности снять. Лунин душевной болезнью не страдает, а является нервно-неустойчивой личностью со склонностью к алкоголизму».

В день выписки Лунин еще раз потряс окружающих бурным припадком. Разбитый, перевязанный, грозя убить меня первым предметом, какой ему попадет в руки, уходя, кричал:

— Не думайте! Это издевательство над больным вам даром не пройдет.

Не знаю, как в дальнейшем сложилась жизнь человека с «заслугами». Однако многие «Лунины» уже на трудовом пути и это заставило их сделать наши советские люди.

МОИ ЗНАКОМЫЕ

Доктор! Наш милый, дорогой доктор! — воскликнула Мария Семеновна, открывая дверь.
— Мишка, Ларка, быстро раздевайте гостью!

Светлые волосы выбились из-под косынки на тонкую шею Марии Семеновны. Ее светло-голубые глаза сияли радостью. Вытирая о передник красные от стирки руки, она улыбалась. Приятно было на нее смотреть. Она всегда успевала все делать дома, да еще и хорошо справлялась с работой машинистки большого книжного издательства.

Задевая старую ширму, ко мне ринулся широкоплечий, кудлатый Михаил Юльевич, муж Марии Семеновны. На нем, как всегда, была любимая вельветовая толстовка. Лицо его, со слегка выступающими скулами, оживленное блеском небольших черных глаз, казалось приветливым. Михаил Юльевич повел густой бровью и, улыбаясь широким ртом, решительно подошел ко мне. В крупных сильных руках Михаила Юльевича я едва успевала поворачиваться — так быстро раскручивался мой шарф, стягивались заснеженные боты, шуба, шерстяная кофта.

Из-за книжных баррикад выглянуло личико Лары, очень похожей на своего отца. Она тоже спешила обнять домашнего друга-доктора.

Ворох одежды был положен на сундук. Я чувствовала себя растворенной в этом радушии и семейном счастье. А что такое семейное счастье? С моей точки зрения, это желанная забота друг о друге, покой, общая трудовая цель и полное разделение счастья и горя, которое куда легче нести сообща.

Помыв руки и надев халат, я подошла к постели давно болеющей матери Марии Семеновны. Старушка Анна Ро-

мановна, пожелала, чтобы ее лечил знакомый доктор. «Других врачей, кроме вас, мама не признает», — заявила Мария Семеновна и ее милое лицо с тем особенным розовым оттенком кожи, какой бывает только у блондинок, выразило не то печаль, не то просьбу.

Это был первый, еще тяжелый год после Великой Отечественной войны. Мне приходилось много работать. У меня у самой болела дочь. Но как отказать в помощи, особенно, если она необходима?

Количество знакомых у докторов, как известно, велико. Как и все люди, они иногда болеют, ну, а в этих случаях доктора особенно нужны.

Два долгих зимних месяца, через день, невзирая на мороз и слякоть, я проходила длинную улицу на окраине города. Там жила эта знакомая мне семья Гуриных.

Много тяжелобольных можно вылечить или облегчить их страдания, если не забывать основной принцип медицины: «помогай природе». Есть и необходимое условие, при котором можно называться врачом, — это медицинские познания и внимание к человеку с памяткой совета древних: «не вредить».

По моему врачебному разумению, старой, теряющей память (в результате склероза сосудов мозга) Анне Романовне любящими домочадцами были созданы условия, в которых больная чувствовала себя легко, уютно, спокойно. Это были простые, доступные всем условия! Удобная постель, легкая, но питательная пища, обилие свежего воздуха, а главное, доброе, заботливое отношение близких.

Неплохо и подбодрить целебными средствами уставшее за целую жизнь сердце. Ах, сердце! Ты добрый, верный друг высочайшего повелителя природы — мысли. Тревожно, как птичка в клетке, бьешься ты на семнадцатой весне при слове «люблю»! Тяжело и глухо отбиваешь удары судьбы при потере матери, друга. Чутко вторишь горестной покаянной, слишком поздней мысли, оценившей человека тогда, когда его нет. А вот и жизненный крах, и ты, сердце, сжимаешься вместе с мыслью, отсчитываешь былые промахи, расплачиваешься за ошибки, лень, жажду легкой жизни без труда и усилий.

Конечно, склеротические кровеносные сосуды головного мозга Анны Романовны нуждались в активной, но осторожной помощи. Это было в моей врачебной власти.

Йодистые препараты, внутривенные вливания глюкозы были применены своевременно, и постепенно Анна Романовна становилась бодрее. Была она старушкой любопытной. Нам приходилось подолгу беседовать и, конечно, я ее успокаивала, как могла.

В подобных случаях Михаил Юльевич обычно терял терпение. Вот и теперь он с шумом отодвинул ширму и подошел ко мне. Его вполне можно было принять за боксера тяжелого веса. Прервав психотерапевтическую беседу, он подхватил меня вместе со стулом. В один миг я оказалась за обеденным столом. С аппетитом ели винегрет, сардельки с картофелем, капусту провансаль, ржаной свежий хлеб. Михаил Юльевич, как всегда, был оживлен. «Ешь просто, доживешь до ста» — говорил он, улыбаясь широким ртом. Энергии у него было столько, что хоть отбавляй. Не досыпая ночей, он упорно занимался, стремясь закончить диссертацию и получить степень кандидата философских наук. Однако выводы на будущее он делал неожиданные и неприятные. «Эх, хорошо бы скорее получить ученую степень, да пожить вволю!» — как будто шутя говорил он. Но мне как-то не хотелось верить, что Михаил Юльевич стремится стать ученым ради сытой и удобной жизни. За едой он со смехом сообщил, что Ларка мечтает получить аттестат зрелости не иначе, как с привеском в виде золотой медали.

— И выйдет замуж за будущего ассистента нашего будущего профессора Гурина Михаила Юльевича, — нарочито важно сказала Мария Семеновна. Загоревшиеся глаза ее выразили мечту. А может быть, это просто показалось?

— Я никогда не выйду замуж! — возмутилась Ларка. Она покраснела и, выскочив из-за стола, убежала за полинявшую ширму.

Разрушая баррикады книг и задевая мебель, мы подбежали к Ларке, уверяли ее, что это шутка. В черных глазах показались слезинки. Но обида скоро испарилась и снова вся семья была счастлива.

Всех нас, и даже бабушку, вполне можно было зачислить в разряд оптимистов. Тогда никто не замечал, что в комнате тесно, и все друг другу мешают словами или действием. Наоборот, это не казалось помехой. Трудились в поте лица. Жили своей и общей надеждой. Цель, труд на благо себе и другим — вот что наполняло веселым шумом жизнь моих знакомых.

И все же бывает так... Наши жизненные пути разошлись на целых десять лет. Здоровье Анны Романовны значительно улучшилось. О знакомом докторе, видимо, не было надобности вспомнить.

В предпраздничный день москвичи особенно оживлены. Теснота, сутолока в троллейбусе свидетельствуют о часе «пик», связанном с окончанием работы в учреждениях. Вот перед нашим троллейбусом перебежала дорогу женщина. Водитель мгновенно затормозил. Произошел толчок. Я налегла на широкую спину мужчины в черном пальто с бобровым воротником. В следующий момент широкая спина удостоила меня полным поворотом. На меня глянуло скуластое лицо Михаила Юльевича. Мы оба искренне обрадовались встрече. Михаил Юльевич пропустил меня вперед и мы вышли из троллейбуса и направились по Кузнецкому мосту вверх. Я вспомнила прошедшие времена.

— Да, веселое было житье! — не то с сожалением, не то с насмешкой заметил Михаил Юльевич.

Он говорил о себе, о своих успехах. Мой собеседник был из тех людей, которые любят больше говорить, чем слушать. А годы усиливают черты характера людей. Видимо, чужое мнение он перенесил с трудом, да, кажется, и считался только со своим. Михаил Юльевич заметно располнел. Пожалуй, только брови остались такими же густыми и черными, но лицо стало чрезмерно пухлым и на нем появился нездоровый оттенок бледности. Из под меха ушанки виднелись седые виски. Он написал большую, очень ценную работу, и это принесло ему немалые средства. Между прочим, он сообщил мне о том, что его теща жива и чувствует себя превосходно.

Я обещала побывать в своей квартире многоэтажного дома в семье Михаила Юльевича и кстати проведать мою бывшую больную.

Спустя несколько дней, я это и сделала.

Лифт поднял меня на десятый этаж. Рассеянный свет, красота отделки стен могли очаровать кого угодно. Плюшевая дорожка в коридоре делала неслышными мои шаги. Позвонив у нужной мне квартиры, я ждала минуты две, может быть, больше. Дверь открыла величественная дама в китайском халате. Рукава его свисали до пола. В талии, под высоко поднятой полной грудью, халат перехватывался сверкающей пряжкой. Это была сама Мария Семеновна.

— А, доктор?! Очень рады... — сказала она тоном, каким прилично выражают равнодушие. Мне было предложено раздеться. Вешалка блестела никелем, но я с трудом дотянулась до нее. Мария Семеновна сказала какую-то приличную фразу о том, что у меня «миленький фасон шубки, прелестного оттенка песец...». По ее мнению, я всегда молодо выгляжу.

Нельзя было то же самое сказать о ней. Мария Семеновна заметно расплылась. Голубой цвет глаз слегка вылинял. У самых уголков глаз предательски выдавали возраст тщательно запудренные «гусиные лапки».

— Прежде всего я покажу вам нашу квартиру...

И Мария Семеновна медленно пошла впереди, показывая мне великолепные комнаты. Я остановилась перед лиловым ковром. Среди искусно вышитых цветов застыли в полете колибри и огнедышащие драконы.

— Это настоящее китайское сюзанэ натурального шелка... А рядом шкаф красного дерева... Спальный гарнитур под карельскую березу нам стоил четырнадцать тысяч...

— Зачем вам столько вещей? — удивилась я обилию тумбочек, хрусталя, саксонского фарфора.

Михаил Юльевич сделал большой вклад в науку, а теперь он видный профессор — часто ездит за границу... покровительственно разъясняла мне Мария Семеновна. Как-нибудь нам нельзя. А вот и комната мамы... тоном экскурсовода продолжала она, указывая на тесный закуток, где с трудом умещалась кровать. С нее поднялась Анна Романовна. Лицо старушки было в морщинах, а глаза глубоко запали. Она меня сразу узнала. Прослезилась, поцеловала, назвала спасительницей. Ее, тоже модно сшитый, хотя и байковый, халат был, видимо, неудобен. Путаясь в длинных полах, она направилась к двери, заявив, что хочет угостить меня чайком. Вид у нее был испуганный, оробелый.

— Мапочка, мы еще успеем... — громко сказала Мария Семеновна. Старушка мгновенно смолкла. В следующие минуты она только кивала седой головой в такт словам дочери, говорившей о красоте ванной комнаты, о каких-то «подлинных» карнизах.

Я, наконец, отважилась спросить, где остальные.

— Ларочка в консерватории, а муж дома... Михаил Юльевич! — звонко и, видимо, любуясь своим мощным



голосом, позвала Мария Семеновна. И, когда не последовало ответа, она постучала в одну из дверей и, приоткрыв ее, сказала:

— К нам в гости пожаловал наш знакомый доктор...

— А, доктор?! — услышался неторопливый басок, и наконец появился сам глава дома — профессор, который теперь, без шубы, показался мне еще полнее.

Угощение было куда лучше, чем десять лет назад, — стоящий восточный плов с бараниной, торт, ликер к чаю. Трапеза сопровождалась натянутой беседой с мучительно длинными паузами. Очевидно, в прошлую встречу на улице Михаил Юльевич мне уже все о себе рассказал, а жена его успела все показать. Она уже много лет не работала. Говорить нам было не о чем. Анна Романовна заметно сгорбилась, постарела. Пытаясь налить мне чай, она пролила его на брюссельскую скатерть.

— Ну, кто тебя просит?! — рассердилась Мария Семеновна. — Не можешь, так не лезь!..

Она резко выхватила чашку из жилистых, сухих, дрожащих рук матери и сама налила мне чай.

Старушка сидела, смущенно улыбаясь, и правый, более открытый глаз ее слезился.

Пришла с концерта Лара. На улице я бы ее не узнала. Она выглядела старше своих лет и казалась болезненной. Черные глаза с густыми ресницами были окружены преждевременной голубоватой тенью. На бледном, худощавом лице кое-где виднелись запудренные прыщи.

Но главное было не в этом, а в выражении лица. Такие лица называют надменными, гордыми, несимпатичными.

Небрежно сбросив шубку из венгерской цигейки, Лара вежливо поздоровалась. Пожатие ее холодной влажной руки было слабым.

Беседа оживилась. Я задала вопрос о ее здоровье. Девушка оказалась просвещенной не только в музыке, но и в медицине. Она заявила, что врачи у нее обнаружили острую форму неврастении. Она плохо спит, вечерами подолгу читает в постели, а днем испытывает вялость и головную боль.

— Ларочка на третьем курсе консерватории. У нее удивительное меццо-сопрано. Она мечтает стать оперной певицей. . .

— Ну что ты, мама, несешь чепуху. . . До этого еще далеко. . .

— Мы каждый год отправляем Ларочку на лучшие курорты, но здоровье ее остается слабым. . . — поспешила сказать Мария Семеновна, скрашивая общую неловкость от грубости дочери.

Вяло, нехотя Лара протягивала тонкие пальчики с ноготками миндальной формы к коробке «Ассорти» и, кроме шоколадок, ничего другого не ела.

Чай с ликером несколько оживил Михаила Юльевича. Он рассказал о своих лекциях в институте, лекциях, которые, признался он, давно знал на зубок и, видимо, не имел желания изменять. Каждый год в день окончания курса лекций студенты в складчину подносили ему цветы и другие подарки.

Я невольно вспомнила то время, когда Михаил Юльевич писал диссертацию. Поняла, что настоящего интереса к науке у него никогда не было, да и теперь работой он себя не утруждал.

Но вот Лара откровенно зевнула. У когда-то неистощимого весельчака Михаила Юльевича глаза тоже сделались осоловелыми.

— Много работаете? — спросила я. И, словно подтверждая мои мысли, он ответил:

— Нет, заведу кафедру... Имею армию ассистентов. Надо же воспитывать молодые кадры. Приходится иногда читать лекции, ездить в заграничные командировки...

Мы простились вежливо, прилично, равнодушно...

Возвращаясь домой, я невольно вспомнила еще одних своих знакомых. Не только муж, но и жена стали профессорами. Прежде они тоже жили скромно. Стать ученым не простая задача. Человек лишает себя многих радостей, не досыпает ночей, до предела напрягает силы, а иногда и теряет здоровье... Не всякий на это способен.

Этих моих знакомых я тоже недавно видела. Они по-прежнему много трудились. Дружеская беседа с ними доставила мне истинное удовольствие.

В просторной квартире наряду с хорошей мебелью и текинскими коврами можно было видеть модели будущих машин. В силу своей профессии я знаю много подобных ученых. Было грустно, что так изменилась семья Михаила Юльевича.

За тяжелыми дверями высотного дома дышалось легко. С неба обильно сыпались снежинки. Под ярким светом уличных фонарей они казались пушистыми, большими.

Обгоняя меня, прошли двое молодых рабочих. Остановились, закурили. Один задорно ударил другого по плечу и удовлетворенно сказал:

— Эх, и поработал я, брат, сегодня!

— А на стадион пойдешь? Там хоккей.

— А почему нет! Пойду, конечно...

У прохожих были оживленные, веселые лица и мне захотелось быть веселой, но медицинский образ мышления явно мешал этому. Меня терзала мысль: «Почему мои знакомые так изменились?»

Мне было чего-то мучительно жаль...

ОБИДА

Больной Травников, старый слесарь завода, часто и трудно дышал. Врач Ирина Петровна Зеленина нащупала его слабый пульс. Многолетний опыт подсказывал: этого больного можно поставить на ноги. Правда, сейчас больной очень плох, но именно поэтому ему надо уделить внимание, обязательно сегодня выкроить из своего немислимо занятого времени час и еще раз приехать к Травникову, сделать ему впрыскивание сердечных средств, а может быть, и переливание крови. Одним словом, спасти... Да мало ли что можно еще сделать? Много будет зависеть от его состояния. Помощь, оказанная своевременно, и есть настоящая помощь.

Возвращаясь от больного, Ирина Петровна вспомнила, как однажды на собрании избирателей выступал депутат местного Совета Травников. Высокий, слегка сутулый от долголетней работы, он говорил: «Конечно, прожито много, только не считаю жизнь конченной». Он поднял свою большую мозолистую руку и убежденно сказал: «Поработаем еще для Родины, да и молодняк надо обучать сноровке да уму-разуму!..»

«Надо приложить все силы, чтобы Травников выздоровел», — думала Ирина Петровна; еще хотела что-то вспомнить, да так и не вспомнила. Несколько минут это ее мучило; мешала слякоть, чавкающая под ногами; мешала и непривычная тяжесть в голове и в ногах. Что нужно еще сделать больному? «Кажется, пока сделала все... Хорошо, что посетила его в первую половину рабочего дня. Да! Сын Митя добился своего и поехал на целинные земли. Умница, но своенравный мальчик, немножечко эгоист,

как все единственные дети, которым матери отдают себя целиком. Не спросил меня, подал заявление. Словно не помнит, что на фронте погиб отец-хирург, а она, Ирина Петровна, мать, остается совсем одна. Да и здоровьем Митя не блещет, слабый, аппетит плохой. И кто знает, какой из него выйдет человек без ее материнского надзора?»

Ирина Петровна шла через длинный Измайловский бульвар. Это в будущем — широкая улица. Она сплошь засажена молодыми липами. Их набухшие почки выпустили первые слабые листки светло-зеленого цвета, как хризолит. А впереди виден голубой простор неба с белым одиноким облачком. «Мите бы поэтом быть. Горяч, красив, на голове волна русских кудрей. И как он без совета с матерью согласился ехать в такую даль?» Впрочем, ее тогда спросили... Не задумываясь, она ответила то, что подсказало ее материнское и гражданское чувство: «Если нужно ехать моему сыну, пусть едет... Он не хуже и не лучше других». Представители комиссии зашептали, одобрительно закивали головами, и от этого ей стало легче. «Не один он едет, — думала она, — а с другими, такими же Митями, может быть, „единственными сыновьями?“...» А что, если бы ей не показали длинного списка энтузиастов-комсомольцев, отбывающих с Митей? Возразила бы, пожалуй, захопотала, а недовольный сын остался бы при ней... Так и не проводила его, нельзя было оставить больного... А недавно заведующая поликлиникой ее упрекнула: «Вы все-таки мать, и о вашем сыне, кроме вас, некому подумать...» И эта, и другие мысли навязчиво кружились в голове Ирины Петровны. Страшно остаться одинокой.

Ирина Петровна подходила уже к поликлинике, но так и не вспомнила, что же ее мучило. Надо бы идти медленнее, тогда легче вспомнить. В поликлинике толпились люди, особенно у четвертого окна, где сестра регистрирует вызовы к больным на дом. Ирина Петровна быстро прошла через зал ожидания, выкрашенный белой масляной краской. На ходу медицинская сестра сунула ей в руку какую-то записку, ничего не сказав. Ирина Петровна так была занята мучительной мыслью, что и не разглядела, какая из сестер дала записку. Кажется, Паша Перова? Записка попала в карман халата неразвернутой. У кабинета терапевта зашумели больные.

«А вот, наконец, вспомнила!» — едва не вслух произнесла Ирина Петровна. — «Надо обязательно сегодня най-

ти время и еще раз посетить больного Травникова. С часу на час ожидается кризис...»

Мучительное чувство потери памяти прошло. Ирина Петровна вдруг оживилась, заспешила. Бодрыми шагами она поднялась на второй этаж в отделение «Помощь на дому». Пришлось присесть, так как дежурный врач возбужденно что-то доказывал в телефонную трубку.

— А машина будет? — обратилась Ирина Петровна к флегматичному, с седыми нависшими бровями фельдшеру Петру Севастьяновичу.

— Нет, на машине выехал хирург. — Петр Севастьянович, вскинув свои белесые брови, неспеша подал Ирине Петровне пачку историй болезни с белыми листочками вызовов на дом.

— Многовато! — сказал он солидным тоном человека, который сочувствует, но ничем помочь не может.

— Немыслимо много вызовов, — сказала Ирина Петровна, пересчитав их.

— Товарищ! — кричал в трубку дежурный врач. — Поймите же. Участковый доктор сегодня перегружен... Ну и что же, что вы ответственный работник? Мы все ответственные. Не кричите, пожалуйста, оглушите... Минуту подождите у телефона, — и сердито бросил трубку на стол.

— Голубушка, Ирина Петровна! Какой-то ответственный работник с вашего участка требует: вынь да положи ему — немедленно врача на дом...

— Я должна пойти сначала к тяжелобольному.

— Знаете что, чтобы не было скандала, посмотрите и этого ответственного, а как только хирург вернется, я немедленно машину за вами пошлю, только вы позвоните... И, не договорив, дежурный врач снова схватил трубку и, зажав ее между ухом и плечом, закричал:

— Слушаю! Говорите фамилию! Кулашкин? Яснее говорите... Ага... Кудряшкин... Передаю трубку фельдшеру, он запишет!

Вытирая пот со лба, врач вышел. Еще один вызов был передан Ирине Петровне. Она машинально опустила его в карман халата и тут нащупала забытую записку. Заведующая поликлиникой просила ввиду болезни врача Линько посетить еще одну больную с пороком сердца. Ирина Петровна сама чувствовала себя больной: вероятно, переутомилась, устала, а может быть, простудилась, потому что недавно сильно промочила ноги. Надо бы измерить темпе-

ратуру, да некогда. Надо выполнить и эту просьбу дежурного врача.

Ирина Петровна с трудом поднималась на пятый этаж того дома, где жил «ответственный» больной. Ей показалось, что она взбирается на верхний этаж высотного дома. За окнами угасал день. От усталости она едва передвигала ноги. Голова была тяжелая, и каждый шаг по каменной лестнице отзывался толчком в висках. «Как доехал и здоров ли Митенька? Почему так долго нет письма?» Сердце билось в груди гулкими ударами. Ирина Петровна остановилась на повороте лестницы и перевела дух. Казалось, что лестница никогда не кончится. Был большой соблазн присесть прямо на ступеньку и вздремнуть. «Нет, нельзя!» Ирина Петровна уже собиралась подняться выше, когда на площадке перед собой увидела нужный номер квартиры. Слишком громко задребезжавший звонок заставил Ирину Петровну вздрогнуть. Неприятно, с силой щелкнул замок. В дверях стоял крупный мужчина в майке и, попыхивая папироской, старался наладить тугую собачку английского замка.

— Проходите, доктор... От такой «скорой помощи» помереть можно, тем более один во всей квартире...

Его слова, как и взгляд слегка припухших глаз, были неприязненными, злыми.

Ирина Петровна с усилием сняла пальто и пыталась накинуть его на слишком высокий крюк вешалки.

Человек в майке уже бросил папиросу и ждал, пока врач справится с пальто и с вешалкой.

Ирина Петровна спросила:

— А где больной?

— Это я и есть, — уже примиряюще и вкрадчиво сказал мужчина и, пригласив в комнату, суетливо придвинул стул.

— Вы?! — с нескрываемым удивлением спросила Ирина Петровна.

Мужчина съежился и отступил. Перед приходом врача он готовился к тому, как «отчитает эскулапа» за промедление, полагал, что это даст ему возможность легко и просто получить желаемое. «Вы?!» мгновенно все перевернуло.

Теперь только и слышался сухой, отрывистый голос:

«Дайте термометр... Температура нормальная... Разденьтесь!... Так... Хорошо... Ложитесь... Не на-



прягите живот... У вас печень немного увеличена...Пьете?»

— Изредка, доктор... По праздникам, — заискивающе, хриплым голосом отвечал больной. Но опытному врачу видно было, что пьет он много, часто и даже одеколон не может полностью заглушить сивушного запаха. Да и одутловатое лицо свидетельствовало об этом. Но человек в майке уверял, что пьет очень мало и мучительно долго подыскивал слова для описания симптомов своей болезни.

— Разрешите от вас позвонить? — прервала его Ирина Петровна.

— Пожалуйста, доктор... Телефончик вот здесь, — засуетился Кудряшкин.

Ирина Петровна позвонила дежурному врачу и договорилась, что сюда к дому подъедет машина и немедленно доставит ее к Травникову.

Ирина Петровна присела к столу и начала выписывать рецепт. Кудряшкин вкрадчиво спросил:

— Вы, доктор, денька три дадите?

— Что такое?

— Я, видите ли, ответственный работник в торговой сети... Так сказать, имею возможность отблагодарить... Надеюсь, у вас ребятки есть... Полакомиться все любят...

Знакомое гневное выражение вспыхнуло в больших потемневших глазах врача. Ирина Петровна медленно поднялась и, сделав шаг в направлении «больного», сквозь зубы сказала:

— Как вы смеете? Здоровый человек срочно вызывает врача и позволяет себе еще мерзости! Эх вы, «ответственный»!

Решительными шагами Ирина Петровна быстро прошла в коридор, сорвала с вешалки пальто и скрылась за хлопнувшей дверью. Уже на первом этаже вспомнила, что забыла на столе свою авторучку. Хотела было вернуться, но, махнув рукой, выбежала на улицу. Не сразу в сумерках разглядела ожидавшую ее машину. Над крышей соседнего дома вспыхнула реклама «Покупайте витамины». Грохот трамваев и уличная суета казались отдаленными, странно тихими. Гораздо сильнее слышалось биение крови в сосудах правого виска. Ирина Петровна не расслышала слов шофера: «Доктор, плотнее закройте дверь машины». Она сидела окаменевшая от обиды.

Шофер перегнулся через сиденье и с силой захлопнул дверцу. Стук болью отдался в голове.

— К больному Травникову?

— Да... — не сказала, а выдохнула Ирина Петровна.

— Хорошо, что я в машине, по крайней мере отдохну немного... лечь бы...

Через несколько минут машина стояла уже у подъезда дома, в первом этаже которого жил Травников. «Что это у больного так ярко горит люстра? Как хорошо, что не нужно подниматься на пятый или шестой этаж...» Ирина Петровна глубоко вдохнула свежий воздух, собрала остаток сил, вошла в подъезд и торопливо позвонила.

Жена Травникова Ефросиния Ивановна, всегда такая приветливая, медленно, словно лишенная сил, наконец открыла дверь.

— Доктор?! — произнесла она слабым безрадостным голосом, вешая на крючок пальто Ирины Петровны, — Афанасию Гавриловичу худо...

— Что?

— Чуть не кончился...

Не замечая яркого света, Ирина Петровна поспешила к больному. Его мозолистая большая рука свисала с постели. Прощупывался слабый пульс. Глухие тоны сердца были замедлены. Ирина Петровна быстро ввела больному лекар-

ство и распорядилась об остальном. Ноги больного уложили повыше, чтобы облегчить кровообращение. К бледному рту поднесли кислородную подушку.

Хотя было сделано все необходимое, Ирина Петровна ушла с тяжелым чувством тревоги за жизнь старого слесаря.

Остальных больных Ирина Петровна осматривала торопливо, не было в ее глазах обычной ласки и участия...

Шофер доставил Ирину Петровну к дому. Она вышла и направилась по улице без цели. Хотелось плакать, но слез не было. Губы были плотно сжаты. Мысли мучительно распирали голову. «Не заставь ее этот „ответственный“ непременно посетить его в первую очередь, она бы к Травникову приехала пораньше. Небольшое врачебное вмешательство и, она уверена, больному не стало бы хуже... Почему у таких, как этот с пятого этажа, не ставят на лбу клеймо. Что делать? Написать жалобу? Нет. Надо больше... чтобы понял он и ему подобные... Это главное... Какой позор она пережила, какую обиду!»

Долго еще Ирина Петровна не могла успокоиться.

Дома сразу легла. Сунула термометр под мышку, но так и заснула с ним...

* *
*

Прошел месяц. Каждый день Ирина Петровна посещала Травникова. Он выздоравливал.

И сегодня был такой же обычный день, не лучше и не хуже других. Правда, пришлось понервничать. Тяжелобольная Ключина отказалась ехать в больницу, заявила:

— Хочу лечиться у Ирины Петровны и все!

«Что поделаешь с такими капризными людьми!» — думала Ирина Петровна, открывая дверь своей квартиры. По коридору она прошла тихо, чтобы не разбудить соседей, которые рано ложатся из-за маленькой беспокойной дочки. Ирина Петровна разделась и направилась в кухню. Усталость быстро пройдет, если попить чайку.

На ее кухонном столе лежало письмо. Ирина Петровна разорвала конверт, зеленоватый, как весенние побеги. Это писал Митенька из далекого края.

«Дорогая мама!

Я на земле настоящего Алтая! Таких маков — красных, желтых и голубых — мы с тобой никогда не видали. Они покрывают всю долину. Нас поселили в палатке, а рядом

строят большой коммунальный дом. Но и в палатке пока хорошо, крепко спится, а в поле дышится вольно. Такая сила вливается, что, кажется, всю бы землю перевернул. А какой аппетит! Уплетаю два обеда!

Здесь еще совсем нет ни болезней, ни врачей, а есть только, ух, какая строгая сестра... А не надумаешь ли ты, мама, приехать к нам? Мы тебя сделаем профессором здоровья...»

Серые глаза Ирины Петровны посветлели. В широко раскрытое окно вливалась свежая вечерняя прохлада.

«И все-таки, — думала Ирина Петровна, — Кудряшкины в нашей жизни встречаются все реже и реже». Профессия врача приносит не только огорчения, но и очень большие радости. Травников ожил и — это твердо знает Ирина Петровна — теперь уже будет здоров! И не один Травников, а и многие другие труженики. А что может сравниться с большой, настоящей радостью возвращения человека к жизни?

СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ

Если от Барнаула самолетом полететь к югу, пересечь Обь, миновать большие поселения, Алтайское и Солонешное, то глазам представится бескрайняя целинная земля. И тянется она до самого истока Ануй. По левобережью, где, склонившись над гладью воды, стоят ракиты и ветлы, раскинулось большое село Ярыжки с колхозом «Победа».

За крепкими срубамн, крытыми черепицей да толем, тянутся пахнувшие скипидаром бревна. Далее скотный двор с высоким-превысоким коровником.

— Ну, для коей надобности соорудили эту высь поднебесную? — скажет иной пришелец из чужого края.

А житель Ярыжки хитро сощурит глаз и степенно, как в обычае здесь, ответит:

— Для удою...

— Как так?

— А так... Внизу, то есть в коровнике, животине вольготно, тепло. Тепло, значит, идет от шпаклеванных пенькой стен и особливо с потолка...

— Почему же такое?

— А потому, что Роман Ильич Лычков, значит, наш новый председатель колхоза, всю верхотуру, то есть второй этаж, до самой крыши, забил сеном, жмыхом и другими кормами. Потому корма сухие, приятственные. А кроме того, ни тебе возить, ни носить, а запросто скинуть сверху... Вот и весь сказ.

— Да... — почешет темя пришелец. На этот раз с уважением поглядит на коровник и подумает: «Ну и голова ихний председатель колхоза!»

Неплохой в Ярыжке клуб, изба-читальня. У самой же опушки соснового бора незаконченное длинное деревянное здание с двойными добротными рамами — сельская больница. Из-за этой больницы, как рассказывают жители Ярыжки, между новым председателем колхоза Романом Ильичом и доктором Дмитрием Никитовичем Любомудровым великая ссора происходила. Председатель надумал строить большой скотный двор и парник, а доктор затребовал «вынь да положи больницу». Председатель доказывал: «Надо, чтоб колхоз богател!» А доктор не слушает, доказывает свое: здоровье людей, дескать, важнее.

— А кому она, больница-то? — спрашивали жители, осматривая дубовый сруб.

Люди в Ярыжке жили скупые на слова, лихие на работу. Оттого и тело их было добротное, упругое, алтайское, хвори неподступное. Все же, ежели разобраться, больные были. Одного конь ударит в живот копытом, иной занеможет от непомерного количества съеденных пельменей, а то забегит тракторист, отряхивая с пораненного пальца кровь.

Доктор Любомудров, а проще «Митрий Никитич», жил в Ярыжках с незапамятных времен. Здесь доктор овдовел. Сюда не вернулся с фронта его сын...

Люди думали, что горе иссушит доктора, но он все так же работал... Перестал, пожалуй, любить праздный разговор, да в его черных усах и бороде появились седые пряди. Теперь, как и прежде, можно было видеть его длинную фигуру с палочкой то на полевом стане, то у постели колхозника, то на собрании, а чаще всего в амбулатории. Никто не слышал, чтобы доктор сердился или кричал. Подойдет он, скажем, на поле к дежурной провинившейся медицинской сестре Варя и, посмотрев поверх очков, покачает головой, скажет:

— Значит, Варя, трактористу Ивану у вас нечем было и палец перевязать?

И черные глаза доктора станут не злыми, а какими-то грустными...

Варя не выдержит, покраснеет, как маков цвет, и, глотнув слюну, с хрипотцой ответит:

— Не будет этого более... Митрий Никитич!

Работа не оставляла доктора одного. Усталость и свежий, чистый воздух прогоняли набегавшую порой от грустных мыслей бессонницу.

А здесь, как на грех, в колхозе «Победа» выбрали нового председателя Романа Ильича Лычкова — Героя Советского Союза.

«Какой уж он, этот Роман Ильич, герой?» — скептически думали сообща местные жители. — «Ростом не взял, грудь впалая да еще левой руки нет. Хворый... Как приехал с тепла в студеный наш климат, так и занемог...»

— Дождались председателя... — шептали колхозники, — не сегодня — завтра богу душу отдаст... Вот только одна надежда... Митрий Никитич. Да ведь и сам доктор от душевной хвори не отошел...

Так думали колхозники. Но недаром к доктору в Ярыжку приезжали люди со всех краев. По случаю болезни председателя доктор поселился в его доме. Днем в больнице, ночью у больного Лычкова, словно на дежурстве. Что только не делал... Сам из пальца больного брал кровь и под микроскопом изучал... Смотрел на свои старинные серебряные часы. Минута в минуту сам давал лекарство. Председатель кашлял кровью. Все думали, у него «чахотка», а доктор твердил свое: «крупозное воспаление легких...»

— Надо бы водочку с перцем внутрь принять, — говорили жители села. А доктор сестре Варе велит водкой-то полотенце смачивать да грудь больного обертывать и укутывать, как младенца. До всего ему было дело. И как председатель спал, что ел... Выслушает его трубкой, обложит горчичниками, а то прикажет банки на грудь поставить и снова укутает. Да так целых полтора месяца, пока председатель не выздоровел.

— Ну и Митрий Никитич! Такого доктора в Москве не сыщешь... — говорили местные люди. — А что касательно председателя, то поглядим, каков он, дело покажет.

Но смотреть на председателя стало некогда. Надо было работать. Оказался он, этот широколобый, с крутой шеей человек, твердый нравом и на работу охотник. Как взглянет серыми большими глазами, так что хочешь подметит. Только и пересчитывает: во-первых, сено плохо убрали, во-вторых, зерно не сортировано и свинарник грязный... А что дался ему свинарник? Какая у свиней может быть чистота? Одно слово — свиньи... Нет, председатель упрям, как бык. В год все установил по-своему... По началу чудно казалось — в Ярыжке еще людской бани нет, а свиней ублажают под теплым душем!

Пороптали, правда, в задворках. Напрямик побаивались, больно горяч новый председатель. Но в первый же год увидели в наличии, какой большой удай дали коровы и как много поросят принесли свиноматки.

Все хвалили нового председателя.

Только один доктор Дмитрий Никитич был недоволен и даже на районном колхозном собрании высказал:

— Вы, товарищ председатель, о животных изволите заботиться, а вот о людях нет...

— Докажите! — вспылал председатель.

— Докажу! В полях идет горячая уборка, а трактористу на полевом стане рук негде помыть, не говоря уж о душе, не налажено и общественное питание...

— На поваров у нас лишних денег не имеется.

— Лишних нет, а на заботу о людях есть... Знаю, что есть!

Как ни хотел председатель употребить деньги на колхозный парник, но доктор сумел свое доказать. Еще и ученую базу подвел, рассказал об академике Павлове. «Улучшая внешнюю среду, — говорил, — мы к лучшему изменяем и организм человека...».

Что поделаешь с таким доктором? Пришлось председателю согласиться...

В эту осень колхозу не повезло. Вдруг заглодало, начались проливные дожди, бурей сорвало телефонные провода, затопило картофелехранилище. Вздурась и разлилась река Ануй. Распутица такая, что за сутки не проедешь и десятка километров.

В это самое время нелегкая унесла даже паром.

Работы у доктора Любомудрова прибавилось. Ночью или поутру приходилось ему идти на край села к тяжелобольным. Зато вечером в квартире у доктора в печке весело трещал огонь. От сосновых бревен пахло скипидаром и дымом. Егоровне — соседке доктора — всегда казалось чудно, что доктор к ужину надевает чистый воротничок, долго моет руки и вообще прихорашивается.

На стальных полках у Дмитрия Никитича было разных ученых книг достаточно. Поужинав, он далеко за полночь, читая, что-то выписывал...

Однажды, когда доктор возвращался от больного, по дул холодный ветер, и, как на грех, он промочил ноги.

Утром Егоровна разбудила самого председателя. Из ее быстрой, прищептывающей речи Роман Ильич понял только

одно: с доктором Митрием Никитичем случилось неладное...

Председатель наскоро оделся и зашагал по грязи к доктору.

Тот неподвижно лежал на своей постели. Лицо его было красным, губы пересохшие, словно лаком покрытые, рука свисла до пола.

Председатель не сразу нашел градусник. Когда измерил температуру, оказалось, что она доходит до сорока градусов. Отослав Егоровну на край села за медицинской сестрой Варей, он приложил к груди доктора ухо, которое лучше слышало. Сердце доктора билось беспокойно и быстро. Роман Ильич, в волнении смотря на часы доктора, считал и пересчитывал его пульс, как это с ним проделывал сам доктор. Пульсовых ударов насчитывалось больше ста. Увидел на груди доктора сыпь. В страхе решил: «Сыпняк!» О сыпняке и других болезнях читал, интересовался прежде. Подошел к докторской полочке с книгами, отыскал медицинский справочник. Стал вычитывать про сыпной тиф. Читая, то и дело подходил к доктору, осматривал сыпь. Было неясно: тифозная сыпь или просто покраснение кожи от сильной температуры. Кроме того, в справочнике было написано, что при тифе сыпь появляется по крайней мере на пятый день болезни, а здесь сразу... Если же это брюшной тиф, то в справочнике говорилось, что симптомы его, в том числе и температура, наступают с большой постепенностью, а сыпь на животе появляется только с восьмого дня болезни. Председателя самого бросило в жар. Листая справочник, он читал, что существуют несколько форм возвратных тифов, даже пеллагрический, еще так называемый крысиный — американский... Роман Ильич даже рассердился: «Расписали, а вот самого нужного нет!»

Все же он еще раз приложил ухо к груди больного и, услышав хрипы, решил, что горчичники не повредят. У него самого были хрипы в груди и доктор то и дело ставил горчичники. В комнату больного вошла Егоровна, а за ней краснощекая сестра Варя.

— Плохи наши дела, — снижая свой пронзительный голос, сказал председатель и перестал листать справочник. — Вызвать бы врачей по телефону, да провода повредились... А везти нельзя, распутица... Человека, конечно, pošлю, сообщение сделать... Но пока давайте лечить сами... — Он посмотрел на растерянные лица Егоровны и медицинской

сестры, как-то особенно, по-председательски, крикнул и спросил:

— Может с желудком?... Попытать бы, что вчера доктор ел.

— Митрий Никитич кушали кашу-гречку с молоком, да чаек пили... Вот и вся ихняя еда.

— Отравления быть не должно... — заключил председатель и вдруг встрепенулся. — Давай-ка, Варя, прежде всего Митрию Никитичу сделаем компресс... или дай чего сердечного, как давали мне... Помнишь?

Варя стояла в нерешительности. С одной стороны, председатель был не доктор, чтобы лечить больного, с другой стороны, уж очень он сердитый, Роман Ильич. Но она сразу его прервала.

— Так нельзя, Роман Ильич, — сказала она строго. — Надо посмотреть больного и подумать.

— И долго ты еще будешь думать?

Покраснела Варя от обиды, но, взглянув на бесчувственного доктора, вмиг забыла обиду. Вскипятила шприц и быстро, как этому ее обучал доктор Любомудров, вприснула ему в руку камфарное масло. Кроме этого, она послушала доктора трубкой и только после этого облепила грудь его банками и укутала потеплее, накрыв поверх одеяла еще овчиной.

Только после этого председатель ушел, пообещав заглянуть.

Трудно было сразу определить, чем болен доктор. Во всяком случае председатель и медицинская сестра Варя решили — надо помочь организму самому справиться с болезнью.

В течение дня председатель Роман Ильич дважды заходил к больному. Вечером остался ночевать в квартире доктора под предлогом позднего времени. Варя и Егоровна тоже доктора не покидали.

Словно от нечего делать, Роман Ильич взял в руки справочник и, отодвинув на конец носа очки, стал читать. Варя тоже занялась учебником по внутренним болезням. Всю ночь они не сомкнули глаз. Доктор в бреду все порывался идти к больным. Варя повторила ему укол. Он успокоился.

— А что, Варя, если мы Дмитрию Никитичу вприснем пенициллин? Здесь вот написано, что вреда от него не будет, а польза верная...

— Пока подождем, а к вечеру посмотрим.

«Самостоятельная», — подумал председатель.

У заботливого доктора Дмитрия Никитича в амбулатории нашлось все, что требует современная медицина при таких болезнях. К вечеру больному стало еще хуже, и Варя смело вприснула ему нужную дозу антибиотиков, и он уснул.

Прошло несколько дней. Доктор открыл глаза и понимающим взглядом осмотрел комнату. Однако была такая слабость, что ни подать голоса, ни шевельнуться не мог. Чуть повернув тяжелую голову, он увидел в смежной комнате у стола Романа Ильича, Егоровну и Варю. Доносились сдержанные голоса.

— На завтра давайте, во-первых, дадим больному, — говорил Роман Ильич, — свекольного соку с медом. Может взойдет в себя, тогда куриного бульону покрепче. Вот здесь написано... это полезно, — ткнул плохо гнувшимся пальцем председатель. Он вопросительно взглянул своими большими глазами на Варю, у которой светлые волосы совсем закрыли весь лоб, а сама она от бессонных дежурств осунулась и побледнела.

— Пожалуй, неплохо, — солидно согласилась она. В это время кто-то стукнул в дверь.

— Кого-то несет, — заворчал председатель.

Шаркая ногами, в комнату вошла маленькая старушка с узелком. Она робко взглянула на председателя и шепотом сказала:

— Вот, Ильич, моя курочка-чернушка давеча снеслась... Больному бы передать свеженьких... Митрий Никитич у меня дочку от болезни вызволил...

— Клади на стол. Доктору это будет полезно, — сказал председатель. Дряблое лицо старушки с глубокими морщинками пришло в движение, живо не по летам она улыбнулась и, шаркая ногами, вышла.

Но пока председатель с Варей и Егоровной продолжали обсуждать диету для доктора, в дверь снова постучали. А потом еще и еще... То и дело приходили колхозники и колхозницы, старые и молодые. Каждый нес больному доктору, что имел. Крынку молока с верхком сливок, жбанчик меду, курочку общипанную. Один слабый до водки колхозник, но хороший охотник, на удивленье всем пришел трезвый, да еще принес фунт нутряного медвежьего сала.

— Митрий Никитич сам меня излечил нутряным салом с горячим молоком, — сказал он.

Кажется, желающих помочь больному доктору не было конца.

Сама Егоровна, соседка, принесла пуховую думочку, чтобы больному было удобнее лежать. Но разве такой человек улежит? Не успел прийти в себя, как сразу забеспокоился о каком-то больном и даже хотел идти. Конечно, доктора не пустили, да он и двух шагов пройти был не в силах.

Не сразу доктор мог сообразить, сколько минуло дней, а может недель с тех пор, как он заболел.

Не мог он понять и того, откуда несся шум. В этот день ярко светило солнце, и на окнах разноцветно играли веточки первого алтайского морозца. Теперь выздоравливающий, хотя и слабый, доктор уже ходил по комнате... Кто-то осторожно приоткрыл дверь и, заглянув, хихикнул. Ну, и чудной же доктор! Совсем еще хворый, а белый воротничок уже натянул, да прихорошился, расчесал усы и бороду.

В сенях заиграл баян. В комнату вошло несколько человек, а с ними в новом тулупе председатель.

— А у нас на Ярыжке праздник двойной, — сказал Роман Ильич. — Во-первых, сдали сполна государству зерно; во-вторых, — выздоровел наш дорогой Митрий Никитич!

— Спасибо. А вот для жителей, Роман Ильич, вы обещали закончить постройку больницы, да еще и о бане с вами поговорим...

Председатель вынул из кармана свернутые листы и подал доктору.

Развернул Дмитрий Никитич лист и увидел план и смету строительства новой больницы, проект хорошей сибирской бани, чтобы при надобности было где попариться с березовым веничком...

— Это хорошо, — сказал доктор. Но, видно, от слабости так больше ничего и не вымогил. А его черные добрые глаза заблестели не то от яркого солнца, не то от радости.

«ИХТИОЗАВР»

П олюбуйтесь, до чего довели врачи мою жену! — с искренним огорчением воскликнул муж — плотный, с водянистыми глазами, тщательно выбритый, в отлично выглаженном костюме.

Он перечислил пятерых виновных врачей и, помяная их, но явно имея в виду меня, предупредил:

— Если в ближайшее время моей жене не будет оказана помощь, то я напишу жалобу министру здравоохранения. Я юрист и пути знаю.

Видимо, я произвела на юриста невыгодное впечатление, и он то и дело повторял:

— Я хочу, чтобы вы, доктор, поняли... у жены болит затылок, а не вся голова. Оттого и тройчатка не помогает. Я прошу согласовать со мной назначения. Я детально изучил жену и знаю, что и как на нее действует. К вашему сведению, депрессия у нее возникает без всяких поводов и чаще с утра. Это, как вам должно быть известно, признак депрессии эндогенной, то есть возникающей «изнутри», без всяких внешних поводов.

— Вы знакомы с психиатрией? — спросила я.

— В свое время изучал судебную психиатрию.

Муж говорил долго. Женщина не произнесла ни слова. С равнодушно-безрадостным взглядом она сидела, поникнув головой.

Я слушала и в то же время читала заключения врачей.

— Разрешите мне кое-что уточнить? — осторожно преврала я юриста. — У вас трое малолетних детей?

— Да. Последнему два года.

— Вы одна справляетесь с детьми и со всем хозяйством? — обратилась я к больной.

Она продолжала молчать, а муж ответил:

— К сожалению... Конечно, могла бы помогать ее машина, но я терпеть не могу никаких родственников. Впрочем, это к ее болезни не имеет никакого отношения. Ну-с, доктор, теперь вы можете начать осмотр, — сказал он тоном, каким, видимо, говорил со своими клиентами. — Надеюсь, я вам не помешаю?

— Лучше остаться с больной наедине.

— Ах, да... вы психиатр. Это тот же следовательно. Ну, что ж, оставайтесь, — милостиво разрешил он. — Ты, детка, только не волнуйся. — Он похлопал жену по плечу и вышел.

Сразу исчезла угнетавшая меня тяжесть. Усевшись против больной, я взяла ее слабые тонкие руки в свои.

Не знаю, как это происходит, но иногда вдруг чувствуешь, что больной тебе близок и понятен, хотя он и не сказал ни слова. Видимо, то же почувствовала и эта бледная, худая женщина.

— Я так утомляюсь, что сон не облегчает меня. При одной мысли, что сегодня надо сделать непочатый круг работ, у меня уже с утра болит голова... Когда муж дома, да еще пишет речь, у нас в квартире все ходят на цыпочках. Чистоплотен и требователен он ужасно. Вот я все годы и старалась. Отняли много сил и дети. Все недосыпала, думала: муж работает, надо создать ему условия. Вот и дошла...

«Не от этого „дошла“, — подумала я. — Ничего нет зазорного в том, что жена создает мужу условия для работы. Это хорошо. Плохо то, что он обезличил жену, оторвал ее полностью от жизни окружающих людей».

— А вы сами работали?

— Работала. Учиться хотела, но муж не разрешил и требовал, чтобы я не работала. Я сначала против была, а потом врачи сказали, что заболела. Пусто, тоскливо стало. И все безразлично. Жить не хочется... Такая тяжелая у меня голова, тело словно скованное. А муж не понимает. Требуется порядка, чистоты, уюта в доме. Поднимает скандал, если приготовлено не по его вкусу... Только не говорите ему, что я жалуясь...

— И вы хотели бы жить, как все, и работать?

— Еще бы! — горячо воскликнула больная. — Только вот не в силах уже...

Слушала я ее и передо мною оживали некоторые герои

рассказов Чехова. Вот нянька Варька из рассказа «Спать хочется». «Она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит».

Отчего Варька совершила преступление — задушила младенца, которого укачивала? Во врачебном понятии это «патологическое состояние», «момент короткого замыкания сознания», «аффект», выключивший на доли секунды сознание. А проще говоря, к этому состоянию привело Варьку хроническое недосыпание, переутомление, бессовестная эксплуатация, постоянный психический гнет.

Передо мною ожил герой чеховского рассказа «Тссс!...» — газетный работник Иван Егорович Краснухин, который, «придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за письменный стол». Он не терпит ни лишних звуков, ни случайного шума. Он считает себя владыкой, которому в доме все подчинено. Он любит чай, и поэтому ночью несколько раз будит свою жену и заставляет ставить самовар. «Деспотизм и тирания над маленьким муравейником, брошенная судьбою под его власть, составляют соль и мед его существования... Спит он до двенадцати или до часу дня, спит крепко и здорово».

«Он всю ночь писал, — шепчет жена, делая испуганное лицо. — Тссс!»

Никто не смеет ни говорить, ни ходить, ни стучать. Его сон — святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный!

«Тссс! — носится по квартире, — тссс!»

А все-таки, — спросит нетерпеливый читатель, — чем была больна и выздоровела ли эта женщина?

Отвечу чистосердечно. У нее не оказалось эндогенной депрессии, в чем меня уверял муж. Хроническое переутомление резко истощило мою пациентку. Ее неудовлетворенность, разочарование, разрыв между желанием идти в ногу с жизнью и невозможностью осуществить это из-за постоянного психологического гнета вызвали тоскливое состояние.

Муж больной в моем представлении был ихтиозавром — огромным допотопным ископаемым мезозойской эры, которое случайно сохранилось в нашей советской жизни. Подобные типы изредка встречались мне и прежде. Эти люди трудно поддаются общественному воздействию.

В данном случае мне было понятно, что психотерапевтическим воздействием на больную здесь не ограничиться. Я встретила с председателем месткома учреждения, в котором работал юрист, объяснила ему семейную ситуацию моей пациентки, просила его вникнуть в жизнь юриста, воздействовать на него и помочь достать путевку в санаторий.

— Это дело семейное... не наше дело, — ответил мне председатель месткома, — а что касается путевки в санаторий, то это устроить можно.

Однако меня, советского психиатра, ответ председателя месткома не удовлетворил. На следующий день я посетила секретаря партийной организации и все ему рассказала.

Нельзя сказать, чтобы муж больной под моим влиянием перевоспитался. Ему принесла пользу не моя психотерапия, а вмешательство партийной организации учреждения, где он работал.

Беседа имела результат. Быт больной теперь организован по-новому, по-советски. Крепя сердце, «ихтиозавр» вынужден был пойти на уступки. У юриста поселилась родственница. Она с большой охотой приняла на себя половину забот о доме. Больная же была направлена на два месяца в санаторий, откуда приехала здоровой и стала работать.

Дело обошлось без жалобы министру здравоохранения.

ЗАГАДКА

И издательский работник Борис Николаевич Малов слыл культурным человеком и интересным собеседником. Он пользовался уважением окружающих.

Осень 1941 года была напряженной. Все ближе слышалась орудийная пальба. Малов работал, не жалея себя, когда в соседний с издательством дом попала фугасная бомба. Малов никогда не видел такого ужаса. На его глазах погибло несколько человек. В самом издательстве воздушная волна выбила оконные стекла, разбросала, оглушила сотрудников, в том числе и Малова.

Потрясение не остановило работы. Снова были вставлены стекла, починены поврежденные провода, и жизнь закипела. Сердца советских людей были полны горячей ненависти к фашистам. Патриоты шли в народное ополчение, чтобы преградить дорогу гитлеровцам, подступавшим к Москве. Многие литераторы, писатели и сотрудники издательства добровольно отправились на фронт. Что касается Малова, то с ним творилось что-то странное. Каждый вечер он осторожно подходил к окну и, прячась за шторы, грозил кулаком гудящим в небе самолетам.

Однажды Борис Николаевич не пришел на работу, слег в постель. Когда раздавался зловеющий звук сирены, возвещавший воздушную тревогу, он вскакивал и метался по комнате.

К Малову приезжали родственники, сослуживцы и заставляли странную картину. Он лежал на постели и, уткнувшись лицом в подушку, рыдал. Жена теряла голову от горя.

Пригласили из поликлиники невропатолога, тот рекомендовал консультацию психиатра. Но психиатра долго не вы

звали из ложного предубеждения, опасаясь травмировать больного.

Здоровье Малова ухудшалось. Наконец, пригласили районного психиатра. Старый опытный врач побеседовал с больным и, несмотря на уверения жены, что, кроме контузии, никаких травм не было, все-таки написал диагноз «реактивное состояние» и направил Малова в психиатрическую больницу для окончательного выяснения заболевания.

Здесь мне впервые и пришлось познакомиться с Маловым. История болезни, составленная районным психиатром, была довольно подробной, но мне показалось неубедительной. Я уже собиралась вызвать больного в кабинет, когда раздался стук в дверь и на пороге показался Малов.

— Вы доктор? — спросил он, метнув на меня сердитый взгляд. И, не спрашивая разрешения, быстро вошел в кабинет.

Его крупная фигура и низкий сочный голос показались внушительными.

— Садитесь. Давайте познакомимся.

Больной не сел, не подал руки, а нервно зашагал по кабинету.

«Вот уже есть один из симптомов шизофрении — негативизм, противится простым вещам», — подумала я, сразу решив, что районный психиатр ошибся.

— Когда вы заболели? — спросила я.

Не ответив на вопрос, он разразился бурной тирадой:

— Доктор! Я ничего не понимаю. Из меня хотят сделать сумасшедшего. Вы себе представляете? — гневно взглянул он как будто на меня и в то же время мимо. Я сразу обратила внимание на его мрачные глаза, полное лицо, кудрявые смоляные редковатые волосы и почти детский, пухлый, бесхарактерный рот.

— Прислали этих, как их... в белых халатах. Они схватили меня и заперли в сумасшедший дом... сюда. А я не хочу быть сумасшедшим!

Потом он долго сидел, подперев голову руками, видимо находясь, как мне казалось, под властью своих бредовых идей, и шептал:

— Нет, им не удастся сделать из меня сумасшедшего. Не удастся. Не удастся!...

Он вышел из кабинета так же неожиданно, как пришел.

В наши следующие встречи по-прежнему неохотно, но все же рассказывал, что по ночам через окно он видит своих врагов, которые хотят внушить ему, что он сумасшедший. «Но пусть они только мне попадутся!» — в ярости сжимал он кулаки.

«Шизофрения», — решила я и распорядилась усилить надзор за больным.

По всей вероятности, Малов был одержим зрительными галлюцинациями, под влиянием которых мог изувечить не только себя, но и других, и этого, видимо, районный психиатр не распознал.

В поступках Малова, как и вообще в поведении больных шизофренией, наблюдались переживания, лишенные реальности, и стремление отгородиться от окружающей жизни. При шизофрении обычно страдает логическая сторона мышления. Такой больной может работать, но все его мысли как бы раздваиваются и уже руководствуются одновременно двумя импульсами. С одной стороны, больного направляет прежний опыт, с другой — его насильственно подчиняют себе бредовые мысли. Они как бы вклиниваются, мешают ему, а порой толкают к странным, даже страшным по жестокости, поступкам.

Прошло несколько дней. Для меня стало ясно, что районный психиатр ошибся в диагнозе. Однако в типичную картину шизофрении вклинивалось что-то непонятное для меня.

Беседуя с Маловым, я говорила с ним о науке, литературе, морали. Но эти беседы всегда прерывались его неожиданными вопросами, вроде: «Почему лето не называется зимой?» Или: «Переносят ли крысы чуму?» Чаще всего такие отступления бывали тогда, когда в поисках причины болезни я интересовалась характером его работы. Кто знает, может быть, именно в его работе и скрывался ключ к разгадке болезни? Возможно, неблагополучие на службе нарушило душевное равновесие и послужило толчком к острому психическому расстройству? Во всяком случае это необходимо было проверить, и я расспросила сослуживцев. Выяснилось, что никаких недоразумений на работе не произошло. Работал Малов хорошо, с увлечением, его отношения с товарищами были всегда наилучшими.

Однако и эти сведения ничего не дали. Логика Малова была необычной для больных шизофренией. Может быть, у него начиналась другая болезнь, например прогрессивный

паралич? Но тщательные расспросы, анализы и исследование не подтвердили этого.

Несколько дней подряд я была строга с больным и старалась показать ему, что для меня все ясно. Он оставался равнодушен ко всему. Я не понимала его болезни, и для меня он оставался загадкой. В моем опыте еще, видимо, не хватало того, что привело бы к правильному решению.

Однажды он вошел ко мне в кабинет, когда я читала газету. Я поделилась с ним мыслями о фронте. И вдруг Малов устремил взгляд куда-то в сторону, густо покраснел, у него задрожала нижняя челюсть. Прерывающимся сдавленным голосом он сказал:

— Вот, люди воюют, а меня хотят сделать сумасшедшим. Я бы теперь тоже воевал...

Волнение, живая человеческая реакция в ответ на мои слова поразили меня. Это было совсем неожиданно. То, что он, равнодушный и безучастный ко всему, так реагировал на военную сводку, в корне противоречило шизофрении. Я сознательно продолжила начатый разговор на эту тему.

— Не огорчайтесь, Борис Николаевич, вам осталось лечиться очень мало. Уверена, что вы скоро поправитесь. Очень скоро, и тогда исполнению вашего желания можно даже поспособствовать.

Теплого, благодарного ответа не последовало. Вместо этого, повалившись на диван, Малов разрыдался. Санитары увели его в палату.

То, что произошло с больным, не имело ничего общего с шизофренией. Это была осмысленная, живая человеческая реакция на неприятную ситуацию. Какое-нибудь потрясение, сильное чувство, сложная жизненная обстановка часто вызывают у неустойчивых людей такого рода нервную реакцию. Иногда такая реакция похожа на признаки психического заболевания, похожа до такой степени, что ее трудно отличить.

Бывает и наоборот — за ширмой этих живых реакций может таиться настоящая психическая болезнь.

И все-таки Малов оставался для меня загадкой. Одно было ясно: нужно внимательно понаблюдать и выяснить, что именно нарушило его душевное равновесие.

На следующий день во время обхода я как бы невзначай задала больному несколько вопросов. Многие ли из его сослуживцев пошли на фронт? Призывался ли в армию

он сам? Очевидно, почувствовав мою настойчивость, он отошел в глубину комнаты, стал спиной к свету и, злобно взглянув на меня, вдруг закричал истошным голосом:

— И вы с ними заодно? И вы хотите сделать меня сумасшедшим? Нет! Я не позволю!

— Вы слишком разумный человек, Борис Николаевич, чтобы на простые вопросы отвечать так беспокойно, — сказала я и вышла из палаты.

* *
*

Великий физиолог Иван Петрович Павлов говорит: «Сколько есть разнообразных случаев болезненного нервного состояния людей, когда у них нормальная деятельность поддерживается более или менее только до тех пор, пока их не коснутся компоненты, хотя бы и очень незначительные, даже в виде словесных намеков, тех сильных и сложных раздражителей, которые первоначально обусловили нервное заболевание»¹.

Значит, можно допустить, что нервная болезнь Малова вызвана какой-то психической травмой, может быть, связанной с войной? Но как это установить?

Жена Малова неоднократно обращалась ко мне с вопросом, выздоравливает ли ее муж? Я отвечала, что он будет здоров, а сама вновь и вновь вдумывалась в слова Павлова, который писал о перенапряжении нервных процессов, о сшибках и нервных срывах, которые могут повести к неврозу, к психогенной реакции. И больные в конце концов выздоравливают, хотя в мозговой коре еще надолго остается «больной пункт».

После моего ухода рыдания Малова не прекращались. В каком-то ожесточении он щипал себя, царапал лицо, рвал волосы. Неприятная сцена доставила мне, признаюсь, большое удовлетворение. Реакции больного казались еще более «живыми» и отдаляли вопрос о шизофрении. Значит, прав районный психиатр?

Однако радовалась я недолго. Малов словно нарочно повел себя совсем не так, как я полагала. Он лег в постель, с головой зарылся под одеяло и в течение четырех дней не только не отвечал на вопросы, но и ничего не ел. Полная

¹ И. П. Павлов. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Гослитиздат, 1927, стр. 351.

безучастность ко всему, абсолютное безразличие, никаких «живых» реакций. Типичное поведение больного шизофренией. Несколько дней я не знала, что и думать. Еще через день больной при обращении к нему стал отвечать стонами и дрожал так, что под ним двигалась кровать. Поведение было, несомненно, снова «живым», с обычными реакциями. Он выслушивал вопросы и хотя своеобразно, но все-таки на них отвечал.

У меня сложилось впечатление, что я нащупала психическую травму, которая вызвала нервную реакцию. Видимо, это был страх. Бомба, упавшая в соседний дом и причинившая Малову легкую контузию, оставила глубокий след в его психике.

Пока, решая трудную задачу, я переходила от уверенности к новым сомнениям, жена Малова не давала мне покоя. Она допрашивала меня вопросами, советами, требовала ежедневных свиданий с больным, немедленного диагноза, особенного лечения, в котором, по ее мнению, нуждался муж. Отрицание у мужа психической болезни мной, лечащим врачом, ее не удовлетворило. Она рассуждала по-обыкательски: плач, стоны были для нее бесспорными признаками сумасшествия. И сама она проявляла крайнюю неуравновешенность. Я объяснила ей, что окончательный диагноз теперь ясен: у Бориса Николаевича шизофрении нет, но есть нервная психогенная реакция на какую-то неблагоприятную ситуацию.

Жена больного возмутилась и стала серьезно мне мешать. Особенно наседали на меня в период голодовки Малова. Врываясь ко мне в кабинет, кричала угрожающе:

— Вы должны знать, что мой муж ценнейший человек. Его жизнь дорога государству. Я сообщу о том, что он умирает с голоду.

— Но Борис Николаевич пьет куриный бульон из ваших же рук, — заметила я.

— Какое бездушие! — крикнула она и выбежала из кабинета. — Я требую консультации лучших профессоров!

Жена Малова, наконец, добилась консилиума.

В психиатрии, как и в других областях медицины, встречаются болезни стойкие, хронические и кратковременные, острые. Первые, как правило, сопровождаются глубокими анатомическими изменениями. Роль врача в таких случаях сводится к облегчению страданий, к улучшению деятельности организма, к возможному продлению жизни.

Но значительный контингент больных относится к страдающим так называемыми психогенными реакциями. Что же такое «психогенные реакции»? Это целая группа болезней различного происхождения, течения, имеющих между собой одно сходство: они возникают или внезапно в результате какого-либо жизненного потрясения, психической травмы, шока, или развиваются медленно в результате постепенного наложения невзгод. Допустим, что ночью в доме случился пожар. Женщина, поддавшись внезапному страху, вскакивает с постели, выбегает на улицу и вдруг вспоминает, что в доме остался ее ребенок. Но бежать обратно уже поздно, дом охвачен пламенем. Ребенок погибает. Это большое горе, и каждая мать будет потрясена им. Это вызовет тяжелую психогенную реакцию.

Однако у подавляющего большинства людей тяжелые потрясения не вызывают психозов. Люди переживают свои страдания по-разному. Подобные события выводят из равновесия. Сознание несчастья, особенно своей вины, так нестерпимо, что в психической жизни остается тяжелый, иногда длительный след.

Выявить конкретную причину такого заболевания и найти способ восстановить душевный покой больного, заставить его выздороветь — вот главная задача врача-психиатра.

В описанном случае дело не только в трусости. Смелость и отвага не рождаются вместе с человеком. Эти качества вырабатывает жизненный опыт. Основным стимулом к преодолению страха является чувство долга, патриотизм.

Придя к выводу, что причиной болезни Малова был страх, я разработала план лечения. Мне казалось, что для его успешного исхода следует обратиться к чувству патриотизма больного.

Каждый день я осторожно беседовала с Маловым то о новых успехах нашей армии, то о тяжелом положении на отдельных фронтах. Как бы случайно включалось радио, сообщающее о ходе войны. Малов, конечно, не понимал цели таких разговоров, но постепенно поведение его стало меняться к лучшему.

В то время я объясняла эти результаты только методом лечения. Но после я поняла, что слишком много приписывала себе, не учитывая в характере Малова одной черты — его повышенной внушаемости. Именно потому еже-

дневные разговоры и действовали так целебно на больного. Хорошо подействовал и метод лечения сном, который я применила по совету профессоров. Нервный «срыв» под влиянием длительного сна сгладился.

Малов стал выздоравливать.

Находясь уже на правильном пути, я упустила еще одно существенное соображение, а именно не догадалась подробно расспросить жену больного о его отношении к военной службе. Теперь («лучше поздно, чем никогда») я начала выяснять. И неожиданно выяснила самое главное: отправлявшиеся на фронт близкие друзья и сослуживцы Малова усиленно звали его с собой и даже записали в народное ополчение, но... он заболел.

— Но почему вас так интересует этот вопрос, и какое отношение это имеет к его болезни? — недоумевала жена больного.

Так просто. Большое спасибо! — пожалуй, слишком горячо сказала я.

Она, кажется, ушла удивленной. Теперь все было ясно. С еще большей энергией я стала продолжать целительные беседы с Маловым на военные темы. Мы говорили также о зверствах гитлеровцев, об их гнусных теориях... Мы радовались великим социалистическим достижениям нашей Родины и пришли к выводу, что советские люди обязательно завоюют победу.

Вскоре Малов выздоровел и выписался из больницы.

Спустя год я оказалась на фронте. В госпитале мне была поручена палата.

Однажды к нам доставили группу раненых, которых в тот же день эвакуировали дальше в тыл. В числе отъезжающих я не сразу узнала Малова, так он изменился за год. Он был все так же статен и крепок, только исхудал и казался моложе своих лет. Правая нога его была в гипсе. Он получил тяжелое ранение.

Малов узнал меня не сразу, видимо военная одежда сильно изменила мою внешность. Он приветствовал меня как свою хорошую знакомую, рассказал, что вскоре после выхода из больницы был мобилизован.

Прощаясь, он горячо пожал мне руку и, вытащив из шинели бумажный сверток, протянул его мне.

— Читайте на свободе, а после войны отгадите... — и слегка смущенный, тоном заговорщика сказал: — Прошу только об одном — не говорите здесь никому, что я был

«психом». А то еще не пустят обратно на фронт. Я скрыл от комиссии, что лежал в вашем учреждении.

Теплое чувство, словно к родному брату, шевельнулось во мне. Я прочитала тетрадь, переданную мне Маловым, в тот же вечер. Теперь, когда Малова уже нет на свете, пусть познакомится с ней читатель.

«ЗАПИСКИ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА»

«...Да, каждый человек склонен думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Это присуще и мне.

Свои ошибки, проступки, пороки человек часто готов объяснить не закономерным проявлением отрицательных свойств своего собственного характера, а якобы злыми намерениями со стороны других людей. Многие из нас в какой-то мере глут, завидуют, интригуют, мстят, трусят, но для себя, в глубине души, объясняют и свою трусость, и прочие „достоинства“ тем, что это вызвано окружающей обстановкой.

С моей точки зрения (а она мне представляется, конечно, более правильной, чем у других), все эти качества отвратительны и недостойны человека. К сожалению и к великому моему огорчению, они присущи и мне. Единственное, что я пытаюсь делать — и не всегда удачно, — это скрывать их под какой-нибудь более или менее надежной личиной...

Особенно мне мешает в жизни тревожность, мнительность, которые с детства привили мне, единственному ребенку, родители. Чрезмерная забота о моем, всегда отличном здоровье, бесконечные путешествия по докторам сделали свое дело.

Хочу записать самые необыкновенные и в то же время самые обыкновенные мысли. Мне могут поверить и не поверить... Я хотел бы только напомнить, что мысли мои правдивы и куда искреннее слов.

После «нервного расстройства», которое я перенес по причинам, известным только мне, я все-таки был мобилизован на фронт и скрыл, что числился «сумасшедшим». То, чего я так опасался, что так преследовало меня с первых дней войны, все-таки произошло. Но теперь я нашел в себе силу ради пользы общего дела и уважения к себе скрыть «сумасшествие». Культурные люди умеют лучше скрывать

свои чувства. И я как человек культурный держался неплохо; чувствовал, однако, что скрываемые от всех тревога и мнительность, проще говоря, трусость, не только бередают меня, но и неудержимо толкают к привычной самозащите. Теперь, после участия в боях, меня удивляет, откуда в здоровом человеческом теле может таиться такая гнилая и хилая черта тревоги за его целостность, невредимость, сохранность... И не есть ли это просто трусость?

...В массе серых солдатских шинелей я как личность растворился с первых минут похода... Я уже не был Борис Малов в единственном числе, а красноармеец Малов Н-ской части, Н-ского подразделения, как десятки и сотни тысяч других, подобных мне Ивановых, Проценко, Халиевых, Саркисянов, Гиберидзе и т. д... Помню, как в первый же час марша я почувствовал себя частицей гигантского коллектива, выполняющего ответственнейшую задачу. И от этого я признал себя возвышеннее других, отличное других, исключительнее, хотя и у всех других было не меньше „прав“ на такое „признание“, чем у меня самого.

Так как с самого начала я был свидетелем строжайшего военного распорядка и дисциплины, то бой, в ожидании которого у меня тревожно замирало сердце, тоже представлялся мне одним из заранее намеченных шахматных ходов, осуществляемых по заранее составленным тактическим и стратегическим планам.

...Вот уже два дня мы идем по Н-ской дороге, почти не останавливаясь и не замедляя хода. Оттого ли, что мы двигались на юг, мне казалось, что диск солнца растет, жара увеличивается и даже „в ходу“ ощущается духота. Чувствую, что у меня в подошвах как будто толстая прослойка ваты, а ноги двигаются автоматически, самостоятельно от туловища. Это, вероятно, от многодневного похода. Боюсь, как бы не заполучить какой-нибудь ревматизм, тем более что разгоряченными ногами переходил вброд холодную речку. Еще мать всегда говорила, что от этого бывает ревматизм... Это будет ужасно!

Кажется, снова схожу с ума. Можно потерять голову, а я опасаюсь ревматизма.

Поговаривают, что скоро бой. Вижу только серое, клочковатое небо и в мыслях представляю бой, совсем как на картине „Александр Невский“. С двух концов чистого поля плавно двигаются друг на друга стройные колонны и, сойдясь, кричат: „Православные, на-чи-най!“ Собственно



это командир кричит оглушительным басом, от которого дребезжат не только ушные перепонки, но и все усталое тело. Согласно выучке, хватаюсь за винтовку и открываю глаза... „Ребята, наш писатель белены объелся...“ — слышу хохот товарищей и окончательно просыпаюсь...

Значит, не успел я еще сесть на землю, как моментально уснул. Я отказался бы от жирных щей со свининой, от любимой гречневой каши и даже от стопки водки, но спать мне не дают. В данный момент спать не положено. Ем такие щи, каких не едал никогда. Поглощаю целый котелок рассыпчатой гречневой каши с маслом и сейчас же засыпаю...

...Бой начался совсем иначе, чем я себе представлял. Туча черных бомбардировщиков закрыла над нами небо и стремительно понеслась вперед. Человеческая лава текла по земле в ту же сторону. Что-то забухало, застрекотало. Не было слышно никакой команды, я шел среди моря напряженных, красных, потных лиц. Знакомое чувство тревоги так отчаянно охватило меня, что я, никогда прежде не ощущавший сердца, остро почувствовал, что оно у меня есть и что каждую минуту может вырваться — так истошно оно билось в грудной клетке. Я сказал бы неправду, если бы приписал себе в эту минуту какие-то другие чувства, которые, мне казалось, выражались на лицах товарищей, шагавших рядом со мной.

...По тому, как меня качнуло воздухом и обдала комьями земля, я понял, что где-то, наверное не очень далеко, разорвался снаряд. Я весь сжался и сам себе показался очень маленьким и растерянным... Небо вдруг потемнело. Может быть, это новые тучи самолетов обгоняли нас... Наверху в разных концах все чаще вспыхивали слепящие пятна, похожие на искры электросварки. Затем все неожиданно всколыхнулось и побежало вперед... Очевидно, была команда, но я ее опять не слышал. Уверен, что и мой товарищ ее не слышал, так как у него в этот момент лицо было очень напряженное. Затем я пошел медленнее, как и все... Тревога и страх почему-то незаметно улетучивались, заменяясь новыми для меня ощущениями. Тяжести в ногах больше не чувствовалось. Даже винтовка, которую я крепко стиснул руками, показалась легкой и привычной — словно воевал я всю жизнь.

— Борис! Если меня убьют, напиши Марусе... Все найдешь в кармане куртки... И отправь... А партбилет отдай командиру... — сказал Иванов, товарищ из подразделения.

Помню, очень меня поразило, что в такой страшный опасный момент этот невзрачный, слабый телом человек думает не о себе, не о целостности своей головы, а, весь побледнев, держит в своем сердце образ любимой... Помнит о красной книжечке, которая потеряет после его смерти теплоту сердца, рядом с которым она всегда хранилась. Лицо другого товарища, справа, тоже представилось мне необыкновенным. С порозовевшими от напряжения белками, застывший в выражении сурового устремления вперед, он казался грозным пророком... Затем я мельком запечатлевал в сознании лица других, и те казались мне такими же необычными... Почему же ко мне снова подполз подленький страх?..

...По мере того как росли стоны, вопли, проклятья врагу, по мере того как усиливался грохот наших танков и орудий, небо и земля превращались в сплошное кровавое зарево, пахло горелой землей. Горячие острые осколки снарядов на моих глазах рвали на части людей — я чувствовал, что моя „индивидуальность“ с жалким страхом за свое брэнное существование тает, как воск... Страх первого впечатления от боя прошел. Мое тело, как и раньше, приседало, прикрывалось, пряталось за бугры, но теперь уже не только потому, что меня еще не совсем покинул

страх: мозг вступал в свои права. В бешеном темпе контролировал он мои впечатления. Я познавал, что люди умеют умирать. Умирили сразу и медленно. Умирили спокойно, как засыпали, не выпуская винтовки. Умирили разбросанно, судорожно... Женщины и мужчины в белых халатах самоотверженно, привычно перевязывали раненых и быстро уносили на носилках. Один плечистый санитар с добродушным лицом вдруг выпрямился во весь свой высокий рост и упал. Подбежала маленькая девушка с красным крестом, пощупала его пульс, припала ухом к груди и, убедившись, что он мертв, быстро продолжала начатую им перевязку. Страх отходил... Надолго ли?..

...Молодой белобрысый фриц неожиданно вынырнул откуда-то сзади и прицелился в Иванова. Прямо в затылок... Я успел выстрелить фашисту в лоб. Теперь страха не было. Было напряжение, настороженное ожидание, нетерпеливость: „А, ну, где вы, подлюги? Покажитесь!..“

...Словно одержимый, я рванулся вперед.

— Стой, черт! Ошалел? Пригнись! — у самого лица крикнул Иванов и дернул за полу шинели вниз в окопчик. Это меня спасло.

На наше укрытие за молодыми березками шли враги. Их было восемь, нас — двое.

— Когда подойдут — шарахнем гранатой! Тише... — сказал Иванов и... кашлянул.

В какое-то едва исчислимое мгновение один из немцев поднял руку и выстрелил в нашем направлении. Иванов чуть приподнялся и присел. Я размахнулся и бросил гранату. Страх больше не было!

— Подлюги! — зарычал я. — Пришли на нашу землю! Сволочь! — и от второй гранаты меня отбросило в хаос.

Грохот и дым покрыли березки, фашистские значки, самоуверенные лица. Как-то вдруг ощутился запах родной земли, сухих осенних листьев, смоченных кровью товарища, мелькнула в сознании и надломленная березка, на мгновение ощутилась острая боль в ноге.

— Малов! Плохо?... Ранен?... Ничего... пройдет... Врагам хуже... Совсем капут... — уложил одним махом восьмерых! — слышался мне откуда-то издали, глухо, как из колодца, голос.

— Партбилет Иванова... письмо Марусе... — только запомнилось мне.

Сознание ушло...»

Я кончила читать «Записки». Теперь загадка перестала быть для меня загадкой.

После войны мне стало известно, что Малов был героическим участником еще одного боя. Больше я его не встречала.

ВСТРЕЧА В ГОСПИТАЛЕ

Госпиталь помещался в большой водолечебнице на берегу моря. Шла весна. Море бурлило.

Новый больной моей палаты пришел в себя. Бледный, с запекшимся ртом, он дышал легче, но был еще очень слаб. Его доставили в бессознательном состоянии. Теперь он в недоумении оглядывал окружающую обстановку.

— Как ваша фамилия? — спросила я.

Он широко раскрыл глаза и не ответил. Мне показалось, он побледнел.

— Это Михайлов... немой, — шепнула медицинская сестра.

Вопросов я больше не задавала. Уже нащупывался слабый, но ритмичный пульс. Больной Михайлов приподнялся, написал несколько слов на клочке бумаги и передал мне.

«Доктор, не затрачивайте время. Если вам нужны сведения, то я напишу все. Это будет последнее творчество в моей жизни».

— Почему — последнее?

Он сумрачно посмотрел на меня, и я увидела в глазах его пустоту.

Мне стало не по себе, я вышла.

— Такие кончают самоубийством, — предупредила я медицинскую сестру и установила за ним медицинский надзор.

Через неделю мне была передана рукопись. Вечером, закончив работу, я принялась за чтение.

«...Ваше затруднение понятно. Врачу нужна история болезни. Но я только приговоренный к вечному молчанию

человек, обыкновенный человек с обыкновенными человеческими слабостями Мне нужно сказать на бумаге то „последнее“, чего я никогда уже не скажу языком. Ваш ум, спокойный и логичный, не увидит, наверное, в написанном ничего, кроме естественного стечения причин и следствий. И это будет правильно. Прочитав все, вы убедитесь, что жизнь с ее радостями и невзгодами для меня уже не имеет смысла.

Я родился в приморском городе в семье музыканта-композитора. Солнце, море, домашний уют, родительская любовь — всего этого было у меня вдоволь. Я рос здоровым крепышом. Меня тянуло к искусству. Читал запоем книги, с наслаждением слушал музыку Глинки, Чайковского, Бетховена.

Лет с пяти начал играть на рояле. Родители, считая главным в жизни музыку, определили меня в музыкальное училище. Однако выдающихся способностей у меня не было, и я шел средним учеником. Как и товарищи, я больше увлекался морским спортом, считая себя сыном моря, упросил одного матроса сделать мне татуировку. На моей груди с помощью японской туши был запечатлен якорь со словом „Аврора“. Но сильнее всего была тяга к драматическому искусству. По рекомендации отца меня приняли в консерваторию, однако помыслов своих я не бросил и тайно от родителей поступил в драматическую студию. С этого момента и перестал уделять должное внимание музыке. Не удивительно, что музыкальные успехи мои понизились. На последнем курсе я заявил родителям, что к музыке тяготения не имею и мое призвание — быть актером. Отец счел мой поступок верхом легкомыслия и потребовал, чтобы я окончил музыкальное училище. Не выдержав натиска, я уехал в большой город. Там довершил артистическое образование и был оставлен в театре.

Началась новая пора жизни. Не буду подробно останавливаться на истории своей любви и женитьбы. Ощущение счастья не покидало меня.

Работая в театре, я скоро достиг известных успехов. Товарищи любили меня за веселый открытый нрав. Счастье было в моих руках.

В начале войны вместе с товарищами я пошел добровольцем на фронт. В боях удача не покидала меня. Черпались новые силы для творчества. Закалился. Получил ряд отличий и наград.

В конце 1942 г. наша часть была окружена фашистами. Меня, подстреленного и потерявшего сознание, взяли в плен. Очнулся в немецком госпитале.

Я, пленный, ожидал издевательств, но, как это ни странно, со мной обходились вежливо и даже подчеркнуто любезно.

Раны стали постепенно заживать. Начал ходить. Однажды я был вызван в кабинет врача. Там сидели два эсесовских офицера. Они заговорили со мною на ломаном русском языке и даже мило улыбнулись, когда услышали, что по специальности я актер-чтец.

После этого мне задали несколько вопросов, касающихся расположения наших частей. Ответа не последовало. Предложили выступить перед микрофоном на русском языке по шпаргалке, которую мне дадут. Я категорически отказался.

Вечером сестра поднесла мне порцию лекарства. Как всегда, я выпил все до дна. На этот раз странное ощущение вялости, скованности охватило меня. Кажется, подошли санитары, положили меня на носилки и куда-то понесли. Дальше я ничего не помнил.

Утром после снотворного я чувствовал себя плохо. Глотка и весь рот опухли. Мне было трудно дышать. Сестра старалась облегчить мои страдания уколами морфия, давала в ложечке воду. Эти уколы все время поддерживали почти приятное дремотное состояние.

На пятую ночь укола не сделали. Лежа в постели, как-то внезапно я ощутил, что у меня нет языка. Я начал судорожно ощупывать свой рот руками и вдруг задохнулся, закашлял и выплюнул запекшуюся кровь. Языка не было.

Ужас проник в самое сердце, в мозг. Вокруг меня по-прежнему стонали и двигались раненые. Теперь ощущений не было. Гнетущая пустота окружала меня, душила. Моментами оживал и тогда рвал подушку, жалкий, ничтожный, бессильный.

Однажды раздались частые ружейные выстрелы, грохот разрывающихся гранат. Все пришло в смятение, забегало, засуетилось... „Партизаны! Партизаны!“ — истерически вопили немцы.

Не знаю, что произошло со мной. Но я вдруг почувствовал, что хочу жить! Хочу сильнее, чем когда-либо! Снова видеть море — наше море, видаться с друзьями, с женой!

Через разбитое окно в душное помещение ворвался поток свежего воздуха. Я вобрал его всей грудью, подбежал к окну и во весь голос крикнул: „Товарищи!“ Слово не вышло. Исступленный бессловесный крик. Выпрыгнул в окно на землю, покрытую тающим снегом, и побежал. Упал, снова побежал прямо на выстрелы. Была только одна мысль, цепко засевшая в мозгу, — поведать нашим людям о чудовищной операции. Рассказать! Хотя бы звериным ревом. Просвистевшая пуля задела плечо. Это подстегнуло, и я побежал еще быстрее.

Меня окружили наши советские воины, принимая за обезумевшего фашиста. Я рванул рубашку и показал грудь с сине-зеленым якорем и словом „Аврора“. Открыл рот, чтобы рассказать все.. Если бы у меня был язык! Надо рассказать нашим людям о бесчеловечности фашистов! Мне думалось, что наши люди, Родина моя, люди всего мира еще не знают, что несет фашизм. А я узнал, и должен предупредить об этом. Но не смог. Потерял сознание и очнулся у вас в госпитале...

Теперь во мне нет ни радости, ни отчаяния. Я видел жизнь и видел смерть. Мой удел — отягощать жизнь близких, дорогих. Да и как встретит меня жена? Отчего так радостно стремится в свой колхоз Петя Иванов — мой сосед по койке? У него повреждены ноги, но глаза горят надеждой. Кричит: „Буду работать руками, головой... лишь бы в поле широкое, на вольный воздух!“ Почему же нет радости во мне? Потому что безвозвратно погибла радость творчества. Вероятно, вы скажете, а как же миллионы людей находят радость в труде? Да, это верно. Но я-то не смогу, потому что то, что сделали со мной фашисты, оказалось страшнее всего на свете... Они вытравили из меня все живое. А быть людям в тягость не могу. Вчера отправил письмо жене, в котором сообщил, что освобождаю ее от всяких брачных обязательств... Теперь вы, наверное, убедились, что жизнь для меня не может иметь смысла...»

Утро только занималось. Веял теплый влажный ветерок. Представился мне образ мученика, его потухшие, тоскливые глаза, бледное, бесстрастное лицо. Неужели для него нет выхода?

Все шло, как обычно. Выздоровливали раненые и больные. Одни возвращались на фронт, другие для укрепления здоровья шли в отпуск. Входили в жизнь люди, физически искалеченные войной. Значит, выход есть!



Вечером во время обхода я присела около Михайлова и пожала ему руку.

— Иван Сергеевич, — сказала я так бодро, как только могла, — сегодня особенно хороший вечер, а раненым скучно. Сделайте одолжение, сыграйте что-нибудь на рояле. У нас в госпитале чудесный инструмент.

Михайлов окинул меня удивленным взглядом и неожиданно согласился. Раненые его окружили.

Он сел за рояль как-то неловко. Видно было, что пальцы его гнулись плохо, не повинаясь ему. Робко он исполнил несколько вещей Чайковского, Шопена, а затем заиграл незнакомую мне мелодию. Послышалась настоящая буря жалоб, стонов, рыданий. Казалось тесным кольцом сдавливает тоска живое сердце, и оно постепенно замирает.

После длительной паузы он порывисто поднялся и ушел.

На следующий день я зашла в палату. Михайлов лежал с широко открытыми глазами. В них появилось новое, необъяснимое выражение раздумья.

— Вы будете еще счастливы, Михайлов! — сказала я. — Гитлер не одолел ваше самое ценное свойство — волю советского человека к жизни. Она сильнее фашистских пыток, сильнее самой смерти! Теперь вы можете осуществить свою мечту — говорить с людьми, рассказывать им о том, что у вас на душе. Рассказывать своим удивительным мастерством в музыке...

Бледное лицо дрогнуло. Передернулся рот. Из глаз брызнули слезы! Комкая подушку, Михайлов плакал, как ребенок.

Мимо прошел раненый и цыкнул на зашумевшего соседа, словно здесь совершалось какое-то таинство.

Я не стала его успокаивать, зная, что эта встряска поможет лучше слов.

Через несколько дней Михайлов стал играть без упрощений. После длительного перерыва это было нелегко. Раненые собирались вокруг рояля. Михайлов играл не Чайковского и не Шопена. Музыкант рассказывал музыкой о своем страдании, о страданиях других.

Как-то вечером, когда он играл, мне сообщили, что приехала его жена. Стало тревожно. Здоровье, налаживаемое с таким трудом, могло разладиться в одну минуту. Теперь все зависело от этой женщины.

Я ничего не скрывает от нее и ожидала обычного выражения человеческого горя, слез. Но глаза ее оставались сухими, только губы побелели. Не в силах произнести ни слова, она сидела молча. Потом мы вместе пошли наверх, к двери большого зала, откуда слышалась тихая мелодия.

Она остановилась, прислушалась и чуть слышно, одними губами спросила:

— Это он?

Я утвердительно кивнула головой, намереваясь войти. Она жестом остановила меня. Лицо ее было бледно, глаза потемнели и только веки с длинными темными ресницами вздрагивали.

Она первая прервала молчание:

— Чувствовала давно, а теперь знаю все... Только как он мог написать, что я свободна? Разве можно его забыть? Оставить?

Мимо нас прошел раненый, и я шепнула ему, чтобы позвал Михайлова. Сама я не смогла это сделать.

НЕЛАДНОЕ

Мария Васильевна Корчагина учительствовала в селе Лубянском тридцать лет. Она пользовалась любовью учеников и уважением взрослых.

В марте, когда появились первые признаки весны, с Марией Васильевной произошло что-то неладное.

...Сухая, маленькая женщина пятидесяти трех лет, с добрым лицом в мелких морщинках сидела передо мной, сложив руки на коленях, как примерная ученица.

— Скажите, Мария Васильевна, почему после хорошей трудовой жизни вы решились на такой бесславный поступок? Разве вам не хочется жить?

— Напротив, я хочу жить. Виноваты эти, как их, чем зажигают... Ну?

— Спички?

— Да, спички, — обрадовалась Мария Васильевна.

— Расскажите подробнее.

Она всхлинула, вытерла глаза платочком, опять села прямо и сказала:

— Жизнь у меня всегда была хорошая. Даже тогда, когда я осталась вдовой...

— В каком году это было?

— Не помню, — смутилась Мария Васильевна, — забыла.. Потом вся жизнь заключалась в радостях и горестях этих маленьких существ, которые приходили в школу...

— Учеников? — подсказала я.

— Да, да. Они мне много дали хороших минут. Я вот все письма получаю. Леша стал летчиком, в Арктике летает; другой, Васютка Иванов, пучеглазенький такой, —

инженер, метро строит; Саша с немцами и с японцами воевал, Герой Советского Союза... Вот они какие у меня! Мне бы жить да радоваться... А лихо тут как тут...

Я подробно расспросила ее о прошлой жизни.

Оказалось, что зимой она поскользнулась на улице и при падении сильно ушибла голову. Потом ее часто тошнило и кружилась голова. Вскоре после этого на уроке никак не могла вспомнить год смерти Пушкина. Волнуясь, она скомкала занятия и весь день горько плакала и говорила самой себе: «Какой стыд!»

Через несколько дней, придя в магазин за спичками, забыла как они называются. Память изменяла ей все чаще и чаще. Она не могла вспомнить название самых простых предметов, стала недоверчивой, необщительной, обидчивой. В случайном обращении товарищей, в каждой беседе с ними искала и находила намеки на свою никчемность, неполноценность, непригодность для школьной работы. В смятении иногда вновь и вновь ошибалась на уроках. Очень быстро утомлялась, а по ночам не могла спать. Ей казалось, что ее скоро уволят. Готовилась к этому, копила деньги «на черный день», стала чрезвычайно бережливой, почти скупой, ограничивала себя в самом необходимом, даже в еде. Сильно исхудала.

Как-то всероном к ней пришла школьная уборщица и передала просьбу заведующего явиться утром за путевкой в санаторий. Мария Васильевна выслушала спокойно, но, оставшись одна, горько заплакала. Она решила, что ее обманывают. Завтра, думала она, заведующий объявит, что она не умеет преподавать, и предложит подать заявление об уходе.

Что ей делать дальше? Как жить без привычной, любимой работы, без товарищей, без ребят? Она провела ночь без сна, а на рассвете пыталась покончить с собой, но помешали соседи, заподозрившие неладное. Учительница была спасена, но спасителей встретила упреками: «Зачем помешали... Хотите объявить приговор? Выгнать из школы?»

Потом долго плакала и успокоить ее было нельзя. Она не верила, что ее действительно вызывали для вручения путевки. В таком состоянии ее привезли в больницу.

Теперь больная как будто успокоилась и мирно беседовала со мной.

Указывая на чернильницу, я спросила:

— Как это называется?

В глазах Марии Васильевны появилось выражение тревожной тоски и смущения.

— Сейчас вспомню... Одну минутку... Это куда наливают для того, чтобы писать.

— Чернила?

— Да, да... чернила.

— Ну, а куда наливают чернила?

— Вот сюда,—схитрила она, показав пальцем на чернильницу.

— А как это называется?

— Что вы, право, доктор... так расспрашиваете,—рассердилась она.—Нико о болезни, а вы о чернильнице... Ну, называется чернильница,—сердито добавила она.

— Вот и вспомнили! А теперь скажите, играете ли вы на рояле?

— Да, у нас в школе свое пианино. Дети любят, когда я играю...

Я предложила учительнице подойти к роялю.

— Ох, доктор, не знаю. Давно не играла. Разве легкое что...

И Мария Васильевна нерешительно начала. Проиграв несколько фраз мелодии Грига, она повторила их, потом снова и снова играла то же самое.

— Дальше...

— Дальше? Пожалуйста,—смущенно ответила она и снова несколько раз проиграла одно и то же.

В больнице Мария Васильевна была вялой, ничем не занималась. Всегда подтянутая, аккуратная, она и здесь старалась быть такой же, но порой не замечала, что платье надето неряшливо.

Иногда, сжавшись в комочек где-нибудь в углу, она плакала. Ею овладевала тревога и тоска.

Однажды я видела, как она, стоя у подоконника, старалась разбить свое пенсне.

— Что вы делаете, Мария Васильевна? — спросила я, подойдя сзади.



Она смутилась, пыталась скрыть настоящую причину поступка. Но потом призналась, что делала это с целью проглотить осколки и умереть. Ее все время мучило сознание непригодности к работе.

Мне стало ясно, что надо прежде всего вызвать у нее новое отношение к своей болезни. С этой целью я исподволь, как можно доступнее, раскрывала перед Марией Васильевной картину и сущность ее болезни — сотрясения мозга. Когда учительнице стал понятен механизм заболевания, мне было нетрудно доказать необходимость длительного отдыха мозга от умственного напряжения. Но здесь возникла другая проблема: какого отдыха? Ведь нельзя же человека, долго и много трудившегося, перевести в условия полного безделья, искусственно созданного тепличного отдыха. Так, пожалуй, можно и совсем погубить человека, он почувствует себя лишним в жизни...

Изучив прошлое и характер Марии Васильевны, я пришла к выводу: ей надо перейти на более легкую работу в той же школе. Перед ней и была поставлена эта цель.

Если мы, психиатры, не находим такой цели для больных или не умеем ее внушить, то грош цена нашей психотерапии. Она теряет смысл, превращается в пустое говорение. Сам больной не всегда имеет в себе достаточно силы, чтобы найти цель и преодолеть затруднения на пути к ней. Сомнения же и неуверенность ведут его к новым неудачам.

Всякая физическая травма, например сотрясение мозга, особенно в пожилом возрасте, делает психику более ранимой, более податливой внешним воздействиям. Как правило, это сочетается с общим физическим ослаблением организма.

Мария Васильевна не составляла исключения. Необходимо было, следовательно, установить для нее такой лечебный режим, который физически укрепил бы ее и тем улучшил психическое состояние. Это и было сделано.

Санитарки внимательно следили за учительницей и заставляли ее регулярно съедать всю порцию пищи. Ей неустанно напоминали о необходимости систематически гулять в саду, на свежем воздухе. Она понемногу играла на рояле и ежедневно занималась рукоделом. В палату к ней я поместила выздоравливающую от послеродового психоза молодую веселую женщину — мать троих детей. Мария Васильевна подружилась с ней, давала разумные советы, как правильно воспитывать детей.

Все это укрепляло в ней уверенность в своих силах, убеждало в том, что она сможет принести пользу, оставаясь в близком ей коллективе.

Кроме хорошего питания, больную лечили водными процедурами, под кожу вводили кислород, инсулин. Все это как бы омолаживало стареющий организм.

Учительницу часто навещал заведующий школой. Он был искренне огорчен и болезнью Марии Васильевны, и тем, что из трудового строя выбыл ценный человек. Нередко привозил теплые товарищеские письма от сослуживцев. Заботливое отношение благотворно действовало на больную.

— Доктор! Как бы сделать так, чтобы переход на другую работу был наименее болезненным? — озабоченно спросил однажды меня заведующий школой.

— Этим я все время занимаюсь, — ответила я. — А вы подготовьте ей работу делопроизводителя или технического секретаря.

В результате лечения больная стала чувствовать себя значительно лучше. Она даже слегка пополнела. Я не замечала в ней ни тревоги, ни подозрительности. Она теперь хорошо сознавала, что люди о ней заботятся, что ее будущее обеспечено и не предвещает никаких тревог. Назначенная ей пенсия, маленькая работа среди близких людей, забота о ее здоровье — все это явилось хорошим стимулом к жизни.

Еще через некоторое время, когда несколько укрепилась и память, Марию Васильевну уже можно было выписать. Всплакнув при расставании, она уехала в свое село в бодром настроении. Сопровождала ее молодая учительница, ее бывшая ученица.

Недавно пришло письмо от заведующего школой. Он писал, что Мария Васильевна Корчагина работает делопроизводителем, очень старательна, все записывает, чтобы ничего не забыть. «Самое главное в том, — писал он, — что она сознает себя членом коллектива, который делает большое, почетное дело. Мы все теперь довольны».

Я тоже была довольна. Удалось вернуть к трудовой жизни человека — добрую, милую труженицу.

БОЛЕЗНЬ ДОКТОРА

В детском отделении ташкентской больницы изо дня в день мелькала крупная фигура врача-педиатра Батурина. Шумный, веселый или негодующий, готовый обрушиться на себя и на других за ошибку или невнимание к больному, он по-хозяйски шагал из палаты в палату, и при его появлении маленькие пациенты поднимали шумный и веселый гомон. Доктор Батурин любил свой «народец», как он называл больных детей, и «народец» платил веселому доктору такой же любовью.

— Ну, поворачивайся, румяный и кудрявый! — басил доктор, приставляя к уху трубку.

Это было его обычное обращение к детям, хотя маленькие пациенты были часто бледны от болезни и наголо острижены.

Кто бы мог подумать, что этого жизнелюба и весельчака погубит невинная бумага из Министерства здравоохранения? Однако это было именно так. Приказом министерства он был назначен преподавателем вновь открытых курсов усовершенствования врачей. Врачу-практику, проработавшему тридцать лет в детской больнице, нужно было найти новый стиль работы.

Надо было изучить, систематизировать большой новый материал. Это не пугало доктора Батурина, который внимательно следил за специальной литературой. Но читать лекции врачам? Здесь он растерялся. Несмотря на внешнюю решительность, каждое новое дело, новое начинание и в прошлом порождали в нем сомнение, неуверенность.

— Ну, что же, лекции, так лекции. Дело нужное.

Перед началом занятий Батурин болел гриппом и чувствовал еще себя слабым. Все же к лекции он подготовил-

ся хорошо, но провел ее, как ему казалось, формально. Готовясь ко второй, он почувствовал себя еще более неуверенно: «А вдруг какой-нибудь врач задаст вопрос, на который я не сумею ответить?»

Ночью доктор Батурин не спал. На следующий день во время лекции ему действительно был задан какой-то вопрос. Он мог бы на него ответить, но, поддавшись непонятной слабости, вдруг зачем-то солгал, что с этим вопросом совершенно незнаком. Доктор разволновался так, что не мог окончить лекцию, и, сказавшись больным, ушел домой.

Дома начались терзания. Ведь завтра ему снова придется читать лекцию взрослым людям! Батурин едва не плакал. Ему казалось, что он окончательно теряет авторитет.

В тот день за Батуриным прислали из больницы, нужна была его консультация. Молодая женщина — ординатор, смущаясь, сказала:

— Николай Петрович! — я не решилась без вас перевести этого ребенка в заразное отделение, а он в крайне тяжелом состоянии. Я никак не могу определить, какого характера эта сыпь.

Она обстоятельно доложила, когда заболел ребенок, какая у него температура, когда появилась сыпь.

Вымыв руки, надев халат, Батурин подошел к ребенку. И в первый раз за всю свою долгую практику вместо привычной уверенности и спокойствия почувствовал сомнение и тревогу: а вдруг он не сможет определить болезнь?

Маленькая девочка, разметавшись в жару, хныкала и сиплым голосом звала маму. Доктор заглянул девочке в рот, внимательно осмотрел сыпь на ее тельце и вдруг смутился, покраснел и разволновался, как недавно на лекции.

— Простите, Софья Григорьевна, — сказал он своему ординатору, — сыпь атипичная, и я не могу ее определить. Кажется, это сыпь скарлатинозная... Впрочем, я нездоров, — снова солгал Батурин, и на этот раз тоже без всякой нужды. — Попросите Фельдмана осмотреть...

«Что же это? — укорял себя по дороге домой Батурин. — После тридцати лет практики не могу распознать скарлатинозную сыпь. Какой же я врач? Куда я годен?»

Всю ночь он не спал. Был убежден, что с врачебной деятельностью покончено, что он ничего не знает, бездарный человек и достоин осуждения.

У девочки оказалась скарлатина в очень тяжелой форме, с осложнениями.

Батурин решил, что осложнения произошли по его вине, хотя действительно причина крылась в том, что ребенка слишком поздно поместили в больницу. Никакие уговоры близких не помогли. Утром он не пришел на работу. Пять дней метался, называл себя убийцей, требовал суда над собой, плакал. За ним было установлено наблюдение.

Вызванный районный психиатр констатировал острый психоз.

Батурин был доставлен в психиатрическую больницу.

Во время обхода я увидела крупного сильного мужчину. Вихрастый, с проседью на висках, румяный и несколько тучный, он быстро, яростно шагал по палате. Увидев меня, пошел навстречу.

— Коллега... доктор, — сказал он. — Я ведь тоже врач, только преступник, которого судить надо.

Он схватил меня за руку, всхлипывая, как ребенок.

— Вы думаете, что я не хочу жить? — сквозь слезы произнес Батурин. — Хочу, но не имею права! Меня, медицинского преступника, надо арестовать, а лечить не стоит...

Батурин стал на колени и долго плакал.

Выписка из истории болезни, приellanная районным психиатром, короткий разговор с больным, его поведение — все говорило об остром психическом расстройстве. Передо мной был, как мне казалось, больной с бредом самообвинения. Это очень опасная для самого больного форма бреда. Подобный больной может совершить самоубийство.

Я думала: «Жил веселый, жизнерадостный человек, в течение двадцати лет был отличным врачом и вдруг ни с того ни с сего стал доказывать странные вещи — он, мол, преступник, симулянт, потерял право не только работать, но и жить. Что произошло?»

Знакомые и родственники больного отзывались о Батурине как об отличном человеке и враче. Я пыталась беседовать с ним, но из его ответов ничего определенного не вынесла.

Учащенное сердцебиение больного и повышение РОЭ (реакция оседания эритроцитов) терапевт рассматривал как остаточные явления после гриппа. Батурина назначено было противогриппозное лечение, постельный режим. Надо было укрепить и сон, так как больной страдал бессонницей.

При тяжелых нервных срывах крепкий, здоровый сон особенно важен. Этим прежде всего я и занялась. Больному доктору был применен метод продленного лечебного сна.

В лечебной палате, где лечат сном, — полная тишина. Сюда не доносится ни один звук. Затемнены окна. Мерцает синий огонек лампочки. Слабый ритмический звук метронома, сначала сочетавшийся со снотворными лекарствами, теперь действующий самостоятельно. Через несколько минут больные засыпают и спят долгим, крепким сном. Они спят час, два, три — столько, сколько требуется для лечения. Главное, никаких снотворных лекарств, а гениально простой метод условных рефлексов.

Пока доктор Батури́н находился в больнице, я написала в Министерство здравоохранения о том, что доктора Батурина по состоянию здоровья надо освободить от лекторских обязанностей. Просьбу мою удовлетворили и назначили вместо Батурина другого лектора. Я осторожно сообщила об этом доктору Батури́ну. Радость его была неописуема.

Батури́н пробыл в больнице два месяца. Лечение сном полностью восстановило его силы. Осталась лишь некоторая неуверенность в себе, опасение, что пребывание в «такой» больнице может отразиться на работе. Однако хорошие известия из дому, от товарищей по работе помогли улучшить здоровье доктора.

Что же у него было? Чем он болел?

Доктор Батури́н всю жизнь занимался лечением детей, любил свою практическую работу. В пожилом возрасте, когда новые, чрезвычайные ситуации воспринимаются с трудом, привычное, любимое дело было заменено работой нелюбимой и новой. Стечение обстоятельств, казалось бы, случайное, а на самом деле вполне закономерное — заболевание гриппом, за ним последствие в виде общей астении, то есть физической и психической слабости, — все это на фоне пожилого возраста и чувствительного, ранимого характера привело к острой психической реакции. Врач, всю жизнь занимавшийся привычным трудом, потерял психическое равновесие, когда ему предложили деятельность другого рода.

Теперь доктор здоров. По-прежнему отдает всего себя любимой работе. И вновь, как всегда, слышен его бодрый голос в палатах детской больницы:

— А, ну-ка, румяный и кудрявый, повернись!

«НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ТАЛАНТ»

«Дорогая тетя Глаша!» — писал Толя Пичужкин из Москвы в Тулу. Отложив только что полученное тетинo письмо и ручку, он задумался: «Наверное, тетя как всегда сидит в своем любимом черном платье и раскладывает пасьянс... Выдержит Толя экзамен или нет? Впрочем, если карты не сходятся, тетя им не верит. Она вмиг смешает всю колоду. Руки у нее худые, пальцы узловатые от подагры. Тетя сердито вскинет головой с рыжими седоватыми кудельками. Непременно качнутся ее старинные, серебряные серьги с позеленевшей от времени бирюзой. «Все враки!» — произносит она приговор над картами, — и, отбросив их, поднимается во весь высокий рост: «Что же я разыгралась, старая... картошка еще не сварена». Откуда и прить у старой тети Глаши. Вмиг чай кипит, картофель клубится душистым паром, селедка от жесткой шкурки очищена, луковичными кружками обложена... И уже все на столе и все, ух, как вкусно! И аппетит у Толи всегда отличный. Тетя, бывало, сядет напротив, смотрит на Толю добрыми карими глазами, покачивает головой, отчего ее рыжеватые кудельки и серебряные подвески серег тоже покачиваются. И погворить любит тетя, время старое, бывое вспомнать...

Толя был еще школьником, а тетя уже ему твердила:

«Ты, Анатолий, весь в Пичужкин род, в Трифона Сергеевича вышел... А был он, твой дед, актер из крепостных, что тебе Щепкин! Весельчак на диво! За словом в карман не полезет... Бывало, в роли Добчинского ничего еще не скажет, а такое лицо сделает, что публика от смеха животы надрывает... Отец твой Федор Трифионович в него

вышел... С Бим-Бомом в одной труппе ездил. Бом, он же Карлуша, не раз говорил: «Ты, Федор Трифонович, наследственный талант! Только сгубила его, голубчика, царская казенка... Последнюю рубаху в заклад снес. Рано богу душу отдал... А какой был актер! Нынче таких днем с огнем надо искать. Да и я в труппе не на последних ролях была... У нас такое в крови!...»

Ест Толя рассыпчатый картофель и представляет себе своего знаменитого дедушку Трифона Сергеевича. Вспоминает и отца, крупного, как и тетя, рыжеватого весельчака и балагура с добрыми карими глазами. После ужина Толя смотрит на фотографию красивой черноволосой женщины — это мать, умершая еще молодой. Грустно делается Толе, но и радостно. Радостно потому, что на свете он не один. С ним всегда его тетя — бывшая провинциальная актриса, а теперь пенсионерка. С ним целая галерея предков, начиная с крепостного актера дедушки Трифона Сергеевича. Когда Толя был свободен от уроков, тетя — в который уже раз! — вместе с ним рассматривала фотографии, афиши. И давно ушедшие из жизни родственники проходили перед глазами как живые. Тетя же о каждом рассказывала, как о живом, хвалила, гордилась, а то, смотришь, кого и осудит... Потому Толя не знал чувства одиночества и без колебаний верил, что и он «вышел в род Пичужкиных».

Толя снова взял ручку и хотел описать, как проходил первый экзамен в Московском театральном училище. Конечно, у тети и сомнения быть не может, что все экзамены Толя сдаст на «отлично». В этом даже уверен сам Толя, но вот что касается предмета специального, здесь... хотелось бы написать, что и с этим он справится, но... Как в письме рассказать старой тете, что среди молодежи он увидел весьма самоуверенных юношей и девушек. Один паренек, упорно третий раз экзаменующийся в театральное училище, ему объяснил, что это «наследственные таланты», то есть они сами по себе бездарны, но зачислить их могут благодаря влиятельным в театральном мире родственникам.

Толя был поражен и огорчен. В осторожных выражениях он все же тете написал об этом, а когда писал, то его темные, густые, как у деда, брови, почти сошлись в прямую линию, а остренький нос покраснел от холодной струи ветра из окна. Толя послал письмо и очень скоро получил тетин короткий и вразумительный ответ. «Анатолий, пом-

ни одно! Ты наследственный талант! Из рода самих Пичужкиных. Пусть только тебя не примут!... Сама приеду в Москву. Все наши афиши и фотографии привезу... Пусть посмотрят, кто твой дед и отец!...»

Читал Толя письмо своей тети и верил: она может учинить такое...

* *
*

Около большой аудитории, напряженно перешептываясь, стояла молодежь. Были здесь юноши в голубоватых длинных, суженных книзу пиджаках, с длинными, будто давно не стриженными волосами. В кокетливых позах стояли девушки в модных цветных свитерах. Все шло своим чередом. Вызвали наконец и Пичужкина.

Председатель конкурсной комиссии старый актер, а теперь директор театрального училища выглядел плотным, но еще красивым мужчиной.

— Вы, как нам известно, готовитесь в комические актеры? — спросил он мягким баритоном.

— Да... у меня и отец...

— Отец нас не интересуется! — отрезал председатель и от нетерпеливого жеста на его руке сверкнуло алмазное кольцо.

— Изобразите нам что-нибудь этакое... Ну, скажем, горе клоуна, который получил письмо о смерти любимого существа...

— Подумайте, не спешите, голубчик... — посоветовала пожилая женщина в черном платье с крупными серьгами в ушах, которая сидела за столом конкурсной комиссии. Лицо ее было приветливое и доброе.

Зал, в котором заседала комиссия, был просторный и полукруглый, словно арена цирка. Толя прошел в глубину. «Почему, — думал он, — меня не заставляют делать смешное?». В кармане нащупал тетино письмо. Сразу мелькнула мысль, что надо делать. Наступили напряженные минуты ожидания. Эти минуты решали его судьбу.

Толя шагнул вперед и, нарочито оступившись, сел на пол. Его лицо с высоко поднятыми густыми бровями выразило удивление слабоумного человека. Затем лицо сморщилось от боли и Толя изо всех сил тянулся поцеловать ушибленное колено ноги. Не дотянувшись, с сердитым лицом он его ударил рукой, мгновенно вскочил и захохотал с поразительными переливами.

Все члены конкурсной комиссии заулыбались, а через минуту уже неудержимо смеялись.

Словно что-то вспомнив, Толя хлопнул себя по лбу и, глупо ухмыляясь, вытащил из кармана письмо и стал читать. Его густые брови сошлись у переносицы в прямую линию, глаза сделались неподвижными. Его руки повисли, как плети, письмо упало. Дико озираясь на письмо, Толя снова поднял его, пробежал глазами и медленно, словно с гириями на ногах, подошел к окну. Прислонившись лбом к стеклу, он стал пальцем чертить бессмысленные круги на запотевшем стекле... И, пошатываясь, повернулся к столу комиссии. Лицо Толи было страшно. Перед ним сидели люди, но он смотрел на них невидящим взглядом человека в несчастье.

Глубокое молчание нарушила актриса в черном платье. Она приложила к глазам платок.

В подобного рода задачах жюри конкурсной комиссии привыкло к трагическим рыданиям в финале, но такое решение задачи было необычным, новым и говорило о бесспорной актерской одаренности.

Видимо, в трагедию клоуна Толя вложил все свои силы и теперь стоял вялый, опустошенный. Но для жюри конкурсной комиссии этого было мало. Толе предложили исполнить женскую роль, например прочесть монолог Лизы из «Горе от ума».

— Он устал... — негромко сказала пожилая актриса. Однако председатель предложил читать, и Толя начал монолог Лизы. Начал бледно и, сбившись, не закончил и в полной растерянности вышел.

Из-за двери слышались спорящие голоса комиссии. Смысла спора он уловить не мог и стоял, прислонившись к стене. Молодые, хорошо одетые люди его о чем-то спрашивали. Он отвечал. После него из зала вышла модно одетая девушка. Взгляд ее больших светлых глаз как бы говорил: «Я знаю, что меня примут, иначе быть не может!»

Нельзя было определить по лицу Толи, очень он огорчен или нет, когда объявили результат экзаменов в театральное училище. Толю не приняли с мотивировкой, что он слаб в исполнении характерных женских ролей. «А, собственно, зачем мне женская роль?» — думал Толя, всем существом чувствуя несправедливость решения конкурсной комиссии.

Неизвестно, что произошло дальше с Пичужкиным,

только на следующий день в длинных коридорах театрального училища появилась высокая женщина с суховатыми щиколотками ног. Одета она была, как заметили служащие, с претензией на моду. Длинные подвески серег дрожали при каждом ее повороте, так же как дрожали, словно приклеенные, кудельки рыжеватых волос.

Брови и ресницы ее были насурмлены и шагала она своими крупными ногами широко. Вся ее худая, несколько старомодная фигура была полна решимости. За день она обошла всех членов комиссии и просительным голосом с хрипотцой курящей женщины говорила каждому:

— Я актриса Пичужкина... Мой племянник, Толя, из рода Пичужкиных и, дай бог памяти, весь в Трифона Сергеевича вышел... А уж о нем вы, надо думать, слышали...

— Что, собственно, вам нужно? — попытался прервать старую актрису один из членов комиссии.

— А нужно мне, чтобы племянника моего Анатолия Пичужкина всенепременно приняли бы в актерскую школу...

— Но он плохо исполняет монологи и женские роли... Актеру, сами знаете, иногда приходится и в черта перевоплотиться, не то что в женщину.

— Нет, гражданин член комиссии. Женские роли ему ни к чему. Я прошу принять моего племянника... Он наследственный талант... Весь в покойного... — Толина тетя приложила платок к глазам.

Ее постарались вежливо выпроводить за дверь, но она приоткрыла другую дверь — дверь кабинета самого директора.

— Закройте дверь.

Пичужкина в точности выполнила приказание, но закрыла дверь, войдя в кабинет.



Несмотря на нетерпеливый жест занятого директора, старая актриса подробнейшим образом рассказала ему о наследственном таланте своего племянника...

Как ни пытался директор, но так и не смог втолковать тетушке, что ее племянник не выдержал экзамена, и потому на его место примет другого.

Утомленный длинной, невразумительной беседой директор вызвал какого-то члена конкурсной комиссии и просил еще раз объяснить посетительнице суть дела. Тот пригласил ее для беседы в соседнюю комнату.

К полудню все члены комиссии буквально бегали от назойливой посетительницы. Она же, недовольная их ответами, снова направилась к директору. В кабинет она вошла в тот неудачный момент, когда директор, стоя перед зеркалом, тщательно зачесывал волосы на оголенное темя. На его правой руке сверкал алмаз.

— Вы опять пришли... Я же вам объяснил...

— А я вам желаю объяснить... Племянник мой из рода самого Трифона Сергеевича Пичужкина, знаменитого русского крепостного актера! Да! И покойный, не в пример некоторым теперешним актерам, был человек недюжинного таланта... А обижать племянника моего нехорошо... Он отца-матери не имеет... Заступитья некому.

Полное лицо председателя комиссии порозовело, лоб покрылся испариной. Он решительно двинул в сторону кресло.

— Гражданка, уходите! Немедленно уходите или я вызову милиционера...

Старая актриса стояла, окаменев и приоткрыв рот, видимо, от испуга. Затем крупным мужским шагом подошла к самому столу и, высоко приподняв шляпу с цветами вместе с париком и серьгами, сказала:



— Благодарю вас... Как видите, я могу быть исполнителем женских ролей. Наверное, это подтвердят теперь и другие члены комиссии.

Директор остолбенело смотрел на мнимую тетю и затем позвонил секретарю:

— Дайте мне дело Пичужкина!

Единогласным решением Анатолия Пичужкина зачислили студентом театрального училища. Но сразу приступить к занятиям он не смог, так как «впал в депрессию», как сообщил мне о студенте директор училища. Его направили на лечение ко мне, в отделение нервно-психиатрической больницы. В связи с этим из Тулы приехала тетя больного. Она искренне всплакнула и потом долго мне рассказывала из какого рода талантливых актеров происходит Анатолий. «Как две капли воды он похож на покойного его деда Трифона Сергеевича». Для полного впечатления о талантах рода Пичужкиных она разложила передо мной старые афиши и фотографии, а потом встрепенулась и забеспокоилась:

— Ну, а что же у Анатолия? Как и когда его будут лечить? Уж бог с ним с учением, проживем и так...

Пришлось доброй родственнице моего больного рассказать о больном подробно. Разные случаи бывают у человека, как говорят, жизненные удары: один долго копил деньги и потерял их, другому изменила любимая женщина или не сбылась, обманула надежда, которую лелеял годы... И так как организм человека со всеми его системами составляет целое, единое, то, естественно, реагирует весь организм в целом. Например, у человека слабого, чувствительного типа нервной системы может произойти сильнейшая реакция с различными телесными, так называемыми соматическими болезненными симптомами.

Подобное произошло и у Толи Пичужкина. Воспитание у тети, да и личные его устремления готовили Толю к деятельности актера.

Неудача, крушение всех надежд и вместе с тем сильное желание быть актером вызвали в нем сверхсильное напряжение его нервной системы. Говорят же, что когда человек тонет, то хватается за соломинку. Толя был уверен в своей правоте и совершил смелый, казалось бы, недозволенный в тех условиях поступок.

Он оказался человеком сильных безудержных эмоций. И по-своему он был прав.

Но сверхсильное нервное напряжение вызвало в неуравновешенном типе человека, как говорил И. П. Павлов, «взрыв» и крайнее состояние организма — торможение нормальной деятельности нервной системы. Неудачник впал в депрессию.

Целыми часами окаменело сидел Толя у окна больничной палаты, отказываясь даже от еды. Тетя привезла ему вкусных тульских пряников, которые Толя любил, но — увы! — он к ним не притронулся. С точки зрения тети это было грозным симптомом тяжелой болезни племянника. На моих глазах старая актриса постарела еще больше. Но она была из рода Пичужкиных, которые, как видно, перед препятствиями не останавливались. Оскорбленная в актерском авторитете, старая актриса побывала и в театральном училище. Там она распекла администрацию и всех членов комиссии. Председатель от удивления даже протер глаза, настолько настоящая тетя была похожа на мнимую.

И все-таки Толя пошел в Пичужкин род. Он не только выздоровел, но и стал лучшим студентом училища.

НАЙДИ СЕБЯ

Сеанс психотерапии заканчивался. Заканчивалась моя продолжительная лечебная беседа, во время которой я старалась разъяснить больной ее состояние и внушить ей правильные понятия по беспокоящим ее вопросам. Собственно, ясных «беспокоящих» вопросов не было. На лицо были: угнетенность, тоска, беспричинные слезы, склонность к необоснованной тревоге, плохой сон. Подавая рецепт на микстуру, я еще раз внимательно взглянула на больную. Ее бледное лицо было все так же непроницаемо. Поблескивали черные, с редкими сединками закрученные в узел волосы. Смотрели, неподвижно останавливаясь на предметах, задумчивые черные глаза. Плотно сжимались в молчании бледные губы.

Едва кивнув головой, она вышла такой же сдержанной, подтянутой, аккуратной, какой и пришла.

Эту работницу кондитерской фабрики, Анну Сурову, я лечила уже второй месяц. Ей было 42 года. Бездетная вдова, она жила в полном одиночестве. На работу всегда приходила в назначенный час и вовремя незаметно уходила. На основании наблюдений, отмеченных в истории болезни, я поставила диагноз: «Инволюционная депрессия». Этот недуг может наблюдаться в преклонном возрасте при нарушении работы желез внутренней секреции.

Правда, за диагнозом было еще и что-то другое, ускользавшее от прямого наблюдения. Нельзя было упрекнуть больную в скрытности. Сдержанная, скупая на слова, она, однако, на все вопросы отвечала без утайки. Я видела, что микстуры, эндокринные препараты и всевозможные лечебные процедуры мало помогают ей.

Однажды она сказала своим грудным низким голосом:
— Мне лучше. Надо работать.

Я видела, что Сурова вовсе не поправилась, но уговоры были бесполезны. Есть люди решительные и упрямые. Словами их не убедишь. К таким я причислила и мою больную.

Мы расстались, не удовлетворенные друг другом.

Я собрала о больной сведения от ее родственников, сослуживцев, знакомых. Врачи-психиатры не довольствуются одним наблюдением, а, как правило, интересуются жизнью больного на производстве и в домашней обстановке.

Мне сообщили, что Анна Сурова выздоровела и вернулась в свой цех. Здесь за пятнадцать лет работы ей все было хорошо знакомо: люди, машины, станки, котлы. Тихая, незаметная, она, однако, была в цехе необходима. Работала она внимательно, без суеты, не спеша. Товарищи относились к ней с уважением, но считали ее человеком невеселым, безрадостным. Говорили, что так повлияла на нее смерть мужа. Некоторые осуждали Сурову за гордость.

Если была необходимость, Сурову перебрасывали в другой цех. Шла она туда без рассуждений, и нельзя было понять, довольна она или нет.

— Хорошо работает. Но огонька в работе не видно, а могла бы быть в числе передовых! — говорил о ней мастер.

Вечера Анна Сурова проводила дома, обычно за вышиванием. Комната ее была неизменно аккуратно прибрана. Посуда начищена до блеска. Но сама Сурова отзывалась о своей жизни с раздражением, тосковала.

Однажды произошел такой случай.

В праздник Первого Мая работницы фабрики пошли на демонстрацию. Дети были оставлены в красном уголке фабрики. Для ухода за ними выделили Сурову.

— Все равно, песни с нами не поет. Пусть займется лучше с ребятами. При ней баловаться меньше будут. Строга больно, — говорили женщины.

После демонстрации матери пришли за своими детьми. В красном уголке царило необычайное веселье. В центре, подбоченившись и разгоревшись, плясала Анна Сурова, а вокруг — дети работниц. Ее сразу даже не узнали, никогда прежде не видели Сурову такой.

— Смотрите, как ее разобрало!

— Это, видно, ей по душе. А мы и не знали...

— Ясно. Бобыль. Ну, и ожива среди ребят... — миролюбиво судачили работницы.

Я порадовалась, решила, что именно мое лечение принесло пользу.

Спустя несколько месяцев Анна Сулова пришла ко мне с запросом от месткома по поводу пригодности ее для работы воспитательницей. «Справится ли она с этой работой?» — поколебалась я, но заключение все же дала положительное. О дальнейшей участи моей больной узнала от заведующей детским садом.

Жизнь Анны Суловой пошла по-другому. Каждый день перед ней вставала та забота, которой не хватало в течение ряда лет. Все надо было помнить. Обо всем подумать. За всем уследить. Этому пришить к штанишкам пуговицу, тому ногти подрезать, третьего — драчуна — унять. А всем вместе рассказать увлекательную сказку.

Младшая группа воспитательницы Суловой стала выделяться. Ее дети выглядели здоровыми, веселыми, чистыми, послушными. Вечером матери с трудом уводили ребят домой, они очень полюбили тетю Аню.

Одинокая мать трехлетнего Вовы Крутикова однажды не пришла за своим сыном. Она заболела. «Скорая помощь» увезла ее в больницу.

Когда заведующая детским садом задумалась, куда бы временно устроить ребенка, Анна Сулова просто сказала: — Я возьму мальчика к себе.

Заведующая удивилась, но не возражала.

Маленькие ручки доверчиво обняли шею Анны, когда поздно вечером, шагая через весенние лужи, она несла Вову Крутикова к себе домой.

Сколько внимания, заботы отдала Анна мальчику, пока болела его мать.

Через две недели мать Вовы Крутикова выздоровела и со слезами на глазах, пожимая руки Анны, взволнованно благодарила ее.

— Не за что. Ничего особенного не сделала, — сухо ответила Сулова.

Как-то вечером после работы я возвращалась домой. Сзади меня в троллейбусе сидели и разговаривали две женщины. Я невольно прислушалась к их разговору.

— Вот уже два года работаю, а толку никакого... — говорила одна звонким молодым голосом. — Ну, что это за работа?! Ребята шумят, голова кругом идет. Там наладили,

здесь разладилось, а на все не хватает ни глаз, ни терпения.

— Работа терпение любит, — заметила другая, и я узнала низкий знакомый голос Анны Суровой. Оглянувшись, я убедилась, что это действительно она.

— Нет! Уйти бы на производство, к ткацкому станку, чтобы заложить нитку, а из-под пальцев цветистый платок с розами да шпионами вышел... Вот это — жизнь!

— А ты осмотрись! — тоном старшей сестры говорила Анна Сурова. —

Прочувствуй, что сердцу милее. Найди себя! У меня долго такое было... Думала, нервы... Лечилась у докторов... Потом уразумела... Детей нет, а люблю их страсть! Вот и была в жизни не у места. А теперь, видишь, нашла себя... — скупно роняла слова Анна Сурова и чувствовалось, что одобряет она желание неудачливой молодой воспитательницы найти работу по сердцу.

Мне надо было выходить на остановке. Хлынула толпа и сразу нас разъединила.

...Прошел еще год. Я встретила Анну Сурову в парке с небольшой группой одинаково одетых детишек. Увидев меня, она пошла навстречу. На посвежевшем лице ее не было и тени грусти. Она улыбалась, и это очень к ней шло.

— Сурова! Как вы помолодели! — сказала я.

— С кем поведешься, от того и наберешься! — кивнула она в сторону играющих детей.

— Хорошо себя чувствуете?

— Хорош! — со светлой улыбкой ответила она.

Непонятно было, отчего так помолодело лицо Анны Суровой, от улыбки ли, от яркого весеннего солнца или от тайной радости, наполнившей светом ее жизнь. Мне припомнилась беседа Суровой с молодой воспитательницей в троллейбусе.



— Ну, а как та, которая хотела идти на ткацкое производство?

— Маруся? Вы ее знаете?

— Немножко...

— Она уже работает ткачихой на фабрике «Красная Роза».

— Довольна?

— Да. Нашла свое счастье! Эх ты... опять упал... — вдруг забеспокоилась Сурова и подбежала к малышу.

— Чьи это ребята? — спросила я.

— Дети, у которых родителей отняла война...

Упитанные, здоровые ребятишки чувствовали себя отлично. Анна Сурова стала для них второй матерью.

Она нашла себя.

НАСЛЕДНИЦА

Как-то очень давно, когда я была еще совсем юной, хотя уже имела диплом врача, мне пришлось быть на одном банкете. Столы ломились от еды и питья — различных вин. Начинали усаживаться приглашенные, когда последним вошел иностранный гость со своей дочерью. Мужчина был очень красив, но какая странная у него была походка, словно на шарнирах. Казалось, это крупный человек сейчас сделает большой шаг, но вместо этого получался мелкий, почти семенящий шагок...

Как объяснил мне вполголоса один из соседей по столу — знакомый мне известный старый невропатолог, гость является обладателем несметных богатств и последним отпрыском какого-то именитого рода. Дочь была копией отца, хотя отличалась поразительной хрупкостью сложения. Волею случая именитые гости оказались против меня. Нас отделяла полоска стола.

Девушка, на мой взгляд, была лишена каких-либо недостатков, разве только переносица ее, пожалуй, была не в меру широкой, отчего и глаза казались слишком далеко расставленными. Но какие у девушки были глаза! Они излучали изумрудную зелень или отражали морское дно в солнечный день. По крайней мере поэт так бы описал их. Я встречала прекрасных женщин, но подобной я не видала никогда.

Она напоминала мне редчайшее произведение сказочной природы... Кожа ее лица, шеи, рук была поразительной, почти мраморной белизны и так тонка, что у ее широкой переносицы просвечивала голубизна кровеносных сосудов. А какие волосы! Они, как и у отца, отливали красноватой

медью. А талия? Мне казалось, что такое сложение могло быть только у восковой куклы. Да можно ли передать словами совершенство?

Девушка была окружена свитой элегантных молодых людей. Они наперебой ей прислуживали.

Я сидела среди двух мужчин. Один, как я уже сказала, врач-невропатолог, другой журналист — стройный молодой блондин с обыкновенной внешностью: слегка вздернутый нос, пухлые, как у детей, губы, самоуверенный взгляд небольших серых глаз. Все же, когда он увидел эту девушку, выражение глаз изменилось. В них появилась почти растерянность, непередаваемое изумление. По всей вероятности, молодой журналист впервые был на таком банкете, а потому плохо соблюдал должный этикет. Он все время смотрел на красавицу-иностранку. Видно было, что девушка поразила его. Это отражалось на его лице.

Что касается самой девушки, то она, кажется, только один раз взглянула на журналиста. Прекрасное лицо ее оставалось непроницаемым.

Все-таки мой молодой сотрапезник не выдержал и, обращаясь ко мне и к невропатологу, шепотом, полным пафоса, заметил.

— Какая девушка!

— Речь идет о наследнице? — шепотом спросил невропатолог.

Я взглянула на старого доктора. Когда-то, видно, густая и черная, а теперь — увы! — редящая и седая шевелюра волос, нависший над глазами, крутой лоб, нос с горбинкой, тонкие губы — словом, профиль уже пожившего на белом свете Мефистофеля.

— А вы знаете, — он осторожно повел глазами в сторону иностранки, — ей нет и семнадцати лет.

— Да что вы?!

Мы вынуждены были замолчать. Начались речи и тосты.

Когда ужин завершился, наша группа, то есть невропатолог, я и журналист, отошла в сторону от стола. Подавая мне кисть винограда, журналист горел нетерпением скорее узнать подробности. Потому он, с ожиданием посматривая на держателя тайны, снова и уже громче повторил:

— Какая девушка!

— Хороша?

— Необыкновенно! — проглотил слюну журналист.



Тонкие губы эскулапа чуть тронула улыбка.

— Согласен, но вам, молодой человек, к сожалению, не удалось разглядеть ее зубки и кое-что другое... — совсем тихо сказал старый врач. — Посмотрите, ведь она почти не улыбается, а если набегают улыбка, то можно увидеть ее слишком мелкие, с полулунными краями, зубки.

Несомненно, целитель нервов обладал острой дальностью. Я, например, не рассмотрела зубов красавицы. Журналист, удивленный ответом доктора, заговорил громче. Глаза его вновь обрели выражение самоуверенности, и он готов был всеми силами отстоять свою позицию знатока женской красоты. С иронией, которая не шла к его открытому лицу и свидетельствовала о недостатке воспитания, он спросил:

— Что ещё сенсационного вы можете сообщить?

— Кое-что...

— Например?

— Если бы вы хорошо знали иностранный язык, то поняли бы, что на обращенные вопросы девушка отвечает

невпопад... А ее глаза! — тоном простака продолжал старый доктор. — Это шедевр! Только, пожалуй, эти глаза слишком блестящи...

— И, как только вы можете так говорить? — перебил его журналист. — Неужели вы допускаете, что я ничего не понимающий юнец? Ведь у нее все природное, наследственное...

— А разве я говорю вам, что это не так? Именно этот почти фсфорический блеск глаз передан по наследству, является врожденным ее свойством. А какое поразительное сходство с отцом? Такие же глаза, только ее носик в переносице, пожалуй, широковат, я бы сказал, уплощен...

Мне, врачу, с первых слов старого невропатолога все стало ясно. Однако журналист, считавший себя знатоком женской красоты, был явно заинтригован.

— Вы просто решили надо мной посмеяться! — обиделся он.

— Мой молодой друг, — назидательным тоном поучал старый врач, — вы совсем не усвоили золотого правила — выслушивать собеседника до конца, авось и промелькнет что-нибудь интересное, полезное, важное...

Журналист закусил свои пухлые губы и, гася желание возразить, продолжал слушать.

— Ну, а ее папа? Мне известно, что в прошлом это непревзойденный красавец, бросавший под ноги женщин сердце и деньги? Полагаю, что в разных концах света этот человек оставил не мало братьев и сестриц этой прелестницы, но, разумеется, без юридических наследных прав... А походку его вы, наверное, не заметили? Полюбопытствуйте, приглядитесь... Ну, а если бы вам представилась возможность внимательно посмотреть в его глаза, то вы увидели бы прелюбопытное явление... Зрачки с булавочную головку и без малейшего импульса к движению, к реакции на свет, они парализованы...

Петр Петрович — так звали старого «Мефистофеля» — провел рукой по розовому лбу, тщательно пригладил редящие волосы на темени и продолжал беседу.

Он посматривал на меня и взгляд его лукавых черных глаз, казалось, говорил: «Мы-то с вами друг друга понимаем, а вот его, этого юнца, мы уже проучим!»

— Простите, уважаемый доктор, но, мне кажется, в истинной женской красоте вы не разбираетесь...

Словно не расслышав замечания, мудрый лукавец продолжал:

— Вот и выходит, что красавица эта действительно наследница, только ее дети никогда не увидят наследного золотого тельца.

— Интересно, откуда вы знаете, что произойдет с ее детьми? — спросил задетый журналист.

— А вот знаю! — Они будут рождаться мертвыми... Эта девушка наследница... наследница болезни отца, который в сумерках оргий и пьянок заполучил венерическую болезнь и передал неповинной дочери... Конечно, не все мертворожденные — результат такой болезни... Есть и другие причины... Вижу, что вы сегодня поражены второй раз. Ну, ничего, это пройдет... Пока что советую вам познакомиться со специальной литературой. Вы узнаете о так называемой триаде Гутчинсона... При подобных врожденных, «наследственных» болезнях бывает слабый слух, слабое зрение и зубы имеют полулунные края... Конечно, мы, врачи, знаем и о других признаках.

Например, уплощенная широкая переносица, кости которой в определенном периоде вдруг смягчают и начинают разрушаться... И настает расплата за грехи родителей... Расплата уже началась в спинном мозгу папы в виде спинной сухотки... Теперь вы понимаете, мой друг, всю опасность опрометчивых шагов молодости... Кстати, если даже не иметь этой болезни, а просто систематически пьянствовать, то можно родить детей, которые в лучшем случае будут слабоумными, дефективными, а в худшем — пополнят психиатрические больницы. Недаром древний Эскулап при взгляде на идиота говаривал: «Он во хмелю зачат...». А у немцев есть поговорка: «Дитя веселого ужина».

Теперь Петр Петрович простым, добрым, чуть насмешливым взглядом смотрел на журналиста, рот которого от удивления даже слегка приоткрылся.

Я позволила себе это вольное воспоминание. Думается, что не только врачу, но и любому человеку следует быть наблюдательным, как мой знакомый — старый, мудрый невропатолог.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие академика А. Д. Сперанского	3
Предисловие действительного члена АМН СССР В. А. Гиляровского	5
На распутье	7
Попутчики	18
Первый урок	27
Суд	33
Чья вина	40
«Симулянт» скончался	51
Тяжелобольная	56
Барчуки	67
Всего две рюмки	73
Мэри	79
Неудачники	84
Человек из прошлого	90
Измена	98
Будущее покажет	110
Перспектива	116
«Не хочу»	120
«Благородный напиток»	123
«Аполлон»	127
Человек с «заслугами»	136
Мои знакомые	141
Обида	149
Сельский врач	157
«Ихтиозавр»	165
Загадка	169
Встреча в госпитале	183
Неладное	189
Болезнь доктора	194
«Наследственный талант»	199
Найди себя	206
Наследница	211

Богданович Лидия Анатольевна

ЗАПИСКИ ПСИХИАТРА

Редактор *А. А. Смирнов*

Техн редактор *Ю. С. Вельчикова* Корректор *М. И. Стрельцова*

Рисунки художника *Л. М. Хайлова*. Переплет *Л. С. Эрмана*

Сдано в набор 19/II 1959 г. Подписано к печати 14/V 1959 г.
 Формат бумаги 84×108/32-6,75 печ л (условных 11,07 л) 10,38 уч.-изд л.
 Тираж 100 000 экз. Т06105 МН-83

Медгиз, Москва, Петровка, 12
 Зак 147 1-я типография Медгиза Москва, Ногатинское шоссе, д 1
 Цена 3 р 10 Переплет 1 р

4 р. 10 к.

ЗАПИСКИ ПСИХИАТРА